

Небо, любовь моя

Елена Тулушева (род. в 1986 г.) — прозаик. Автор двух книг, лауреат нескольких премий. Публиковалась в «толстых» литературных журналах. По основной работе — медицинский психолог, занимается реабилитацией подростков.

Прозу Тулушевой отличает редкое единение социальности и философичности.

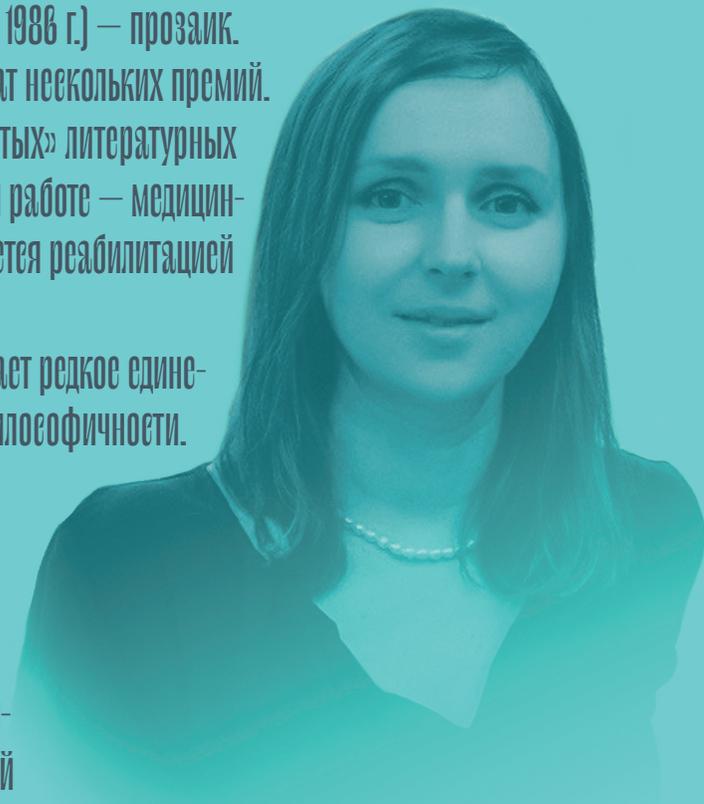
В книге «Небо, любовь моя» — рассказы о любви, одиночестве, потере... А повесть «Уходи под раскрашенным небом» — о нашей

соотечественнице, которая

работает в европейской индустрии

эвтаназии и решает для себя множество сложных этических вопросов.

Смелый и оригинальный подход автора к проблематике так называемой повестки, несомненно, вызовет споры. Но и удовольствие от качественной прозы тоже несомненно.



Елена Тулушева Небо, любовь моя

Елена Тулушева

Небо, любовь моя



АСЕПИ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Елена Тулушева

Небо, любовь моя

Четыре рассказа и одна повесть

Москва
АСПИ
2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-44
Т82

*Издано при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив*

Тулужева Е.

Т82 Небо, любовь моя. Четыре рассказа и одна повесть /
Елена Тулушева. — М.: АСПИ, 2022. — 216 с.

ISBN 978-5-517-09281-6

Елена Тулушева (род. в 1986 г.) — прозаик. Автор двух книг, лауреат нескольких премий. Публиковалась в «толстых» литературных журналах. По основной работе — медицинский психолог, занимается реабилитацией подростков.

Прозу Тулушевой отличает редкое единение социальности и философичности. В книге «Небо, любовь моя» — рассказы о любви, одиночестве, потере... А повесть «Уходи под раскрашенным небом» — о нашей соотечественнице, которая работает в европейской индустрии эвтаназии и решает для себя множество сложных этических вопросов. Смелый и оригинальный подход автора к проблематике так называемой повестки, несомненно, вызовет споры. Но и удовольствие от качественной прозы тоже несомненно.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)6-44

*В тексте неоднократно упоминаются
названия социальных сетей, принадлежащих
Meta Platforms Inc., признанной экстремистской
организацией на территории РФ.*

ISBN 978-5-517-09281-6

© Тулушева Е., 2022

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРАЖЕНИЯ

Тематически Елена Тулушева работает с широкой линейкой гуманитарных и социальных вызовов: эвтаназия, волонтерство в Африке, кризис гуманизма, одиночество в больших городах... В то же время она пишет свои «восемь строк о свойствах страсти» — то яростные, то пародийные, то полные холодного анатомического азарта. Эта пристрастность и не позволяет отнести прозу Тулушевой к «литературе повесточки»: объект ее художественного исследования — сильная личность в поисках подлинности. Автор изучает деформации этой личности, ее заблуждения и откровения, разрыв между волей к жизни и смертельным отчаянием. Поэтому, нам кажется, не стоит искать в этих текстах апологию или, напротив, критику новой реальности: человек в прозе Тулушевой — всегда больше и парадоксальнее предложенных обстоятельств. Ее герои не дают решений, но, озадачивая читателя этически и психологически, создают пространство для новых споров.

Сборник «Небо, любовь моя» — яркое и оригинальное, во многом неожиданное высказывание о современности. В апреле 2022 года Елена Тулушева участвовала во Всероссийской мастерской для молодых писателей «Мир литературы. Новое поколение»; по итогам творческой работы девять молодых писателей (из 170) получили возможность напечатать свою книгу. Мы рады, что среди них — Елена Тулушева, писатель умный, талантливый и бесстрашный.

НИКОГДА НЕ ХОДИТЕ НА ВСТРЕЧУ ВЫПУСКНИКОВ

Я вам серьезно говорю, никогда не ходите на встречи выпускников. Особенно если вам тридцать три. Возраст сами знаете кого, но в нашем патриархальном обществе считается, что только мужчины к тридцати трем должны хоть чего-то достичь. Карьера там, или семья, или кругосветка... Женщины в этой гонке тридцатилетних не участвуют. Почему? Потому что женщина должна была все это успеть к двадцати пяти.

А в тридцать три она уже старшего в школу ведет, младшего в Монтессори-сад, имеет свое процветающее дело и постит фоточки в инстаграме, оголяя кубики пресса. А если нет — то ты уже безвозвратно потеряна. По крайней мере, для твоих одноклассников. Другим мужикам и подругам ты еще можешь заливать про то, как много раз обжигалась, была растоптана и воскресала, можешь травить выученные уже истории про аргентинского художника, за которым ты все-таки не полетела. Но для тех, кто с тобой отсидел общеобразовательную десятилетку без всяких там уклонов, для них ты не Надин, а просто Надька со школы, у которой ничё интересного так и не случилось.

Почему я о возрасте Христа? Не знаю, вы тут ведущий, вам виднее. Переосмысление? Может быть. Вы сказали говорить то, о чем сейчас хочется, — ну вот об этом и хочется, наверное, про итоги и достижения. В общем, единственное мое достижение к возрасту Христа, так вот разве что уехала я «за бугор». Хотя не велик бугор — Вильнюс. Да и то, потому что контору нашу релоцировали. То есть и здесь, получается, не мое достижение,

а стечение обстоятельств, обычная рыночная экономика, в которой наши зарубежные владельцы посчитали, что московский офис обходится непозволительно дорого.

Естественно — одноклассникам своим я это представляла в другом свете: долго строила карьеру, пошла на повышение, испанский и литовский офисы сделали мне предложения, пытаюсь переманить уникального специалиста, и я выбрала Литву, потому что поездом оттуда ехать меньше суток, хотелось чаще навещать родных и друзей, а самолетов я боюсь. Кстати, про самолеты — это правда, единственная из всей моей самопрезентации на том вечере. Я их и правда боюсь. Особенно когда начинается турбулентность, вдруг вспоминаю молитвы, иногда просто до слез страшно, даже на людей рядом плевать, могу расплакаться. И алкоголь не помогает. Завидую этим мужикам, едва вползающим на борт и тут же засыпающим. Я если выпью, так мне не только страшно, но еще и тоскливо так, хоть удавись, начинаю рыдать еще до взлета. Хотя теперь, наверно, много поменяется — как думаете? Есть шанс, что я теперь смогу летать спокойно? Не знаете... Жаль. Хотелось бы. Могли бы и обнадежить.

В общем, ехала я после встречи выпускников. И это, я вам скажу, то еще удовольствие в моем возрасте при полном штиле в личной жизни. Потому как если в двадцать семь твое присутствие на встрече может быть приятным для тех, кто заметно выигрывает на твоём фоне (ну и что, что разведена, я хотя бы замужем побывала, не то что Надька), то в тридцать три тебе уже просто будут открыто сочувствовать, как полной неудачнице. И вот не надо мне тут про то, как поменялось представление о женщинах в последние годы, что в инстаграме все по-другому, что поиск себя — это важнее. Вся эта осознанность и «фокус на я» — это все для выпускников каких-то других модненьких школ, куда родители привозят утром на машинах, забирают после уроков, чтобы доставить чадо к репетитору, где

в конце каждой четверти детям устраивают огоньки, а выпускной отмечают в ресторане.

Наша же школа была на Цветном бульваре. Центровая. А что это значило в конце девяностых? О нет, уверена, что вы не угадаете. Это значило, что большая часть моих одноклассников все еще жили в коммуналках. Это самые простые семьи работяг, которые не получили свои хрущевки, а потому и в девяностые все еще продолжали скандалить из-за того, кто израсходовал чужой рулон туалетной бумаги или спер со стола сахарницу. Потом началась застройка центра, и к старшей школе семьи моих одноклассников постепенно начали выселять на окраины, соблазняя метражом и отдельным санузлом.

А когда кого-то переселяли, то ребята все равно продолжали ездить в нашу школу. Не потому, что она была хорошей, а потому, что в этих новых районах школ вообще не было. Москве нужно было освободить центр, и с этим отлично справлялись. А мы держались за свое центровое братство, собирались по пятницам «на камне» и пили теплые баночные коктейли «Отвертка» и «Трофи». Мерзость неопиcуемая. До сих пор привкус помню. Но какая разница, когда тебе кажется, что весь мир для вас и что вы самая крутая компания на районе. Неважно, что просто все старшие из молодежи либо переселились, либо спились.

Кстати, странно, но из нашего выпуска никто и не спился. Даже на встречи приходят почти все, кроме совсем уж фриковатых. Была у нас пара человек как из другого мира. Один Валя — танцор бальных танцев. Такой умирающий лебедь. Выправка, конечно, была, осанка, походка, но вот жесты, мимика — как будто только что на сцене Большого в него выпустили ядовитую стрелу, но до конца не добились. Второй, Тихомир, — гениальный мальчик, немного двинутый. Он решал всегда на контрольных оба варианта, но вовсе не для того, чтобы дать списать нормальным людям, а чтобы «не осталось нерешенных задач в его пространстве». Причем иногда мог

решить всю контрошку, сложить в рюкзак и просто уйти с диковатой улыбочкой в середине урока, забыв отдать листок учителю. Ему первое время ставили двойки, пытаюсь перевоспитать, но самому Тихомиру было вообще по барабану на оценки, и за него всегда приходила скандалить мама, а мама скандалить умела, так что в итоге Тихомира оставили в покое. В конце концов, он исправно таскался на все олимпиады от нашей школы, принося периодически (когда задания расценивались им как интересные) кубки и медали.

В общем, по этим двум еще в средних классах было понятно, что они свою жизнь станут строить по какому-то особому маршруту. А все остальные в нашей районной школе росли с четким пониманием тех самых будущих целей и ролей в жизни. Для парня: откоси от армии, окончи какую-нибудь заочку, устройся к бате в офис, купи девятку, женись к двадцати пяти. А для девушки и того проще: окончи хоть что-нибудь, выйди замуж и роди.

Что, простите? А, да, вернуться к той поездке после встречи выпускников.

Да что там возвращаться. Так себе поездочка вышла, как вы понимаете, по итогу. Но она и с самого начала не складывалась. Я взяла верхнюю полку в купе, чтобы никто не трогал, пока буду тихонько пускать слезу о своих неудавшихся годах. Не тут-то было. Всю ночь мелкий пацан на нижней полке шумно дышал ртом. Мне всегда тяжело, когда слышу, что человек рядом не может нормально вдохнуть, — как будто у самой нос заложен и на лоб давит. Потом он часов с двенадцати начал проситься на весь вагон «посикать». Мать его раз пять переспрашивала, вот именно так и называя: «Точно тебе надо посикать или просто пися болит?» Аж передернуло. Что за слова у них такие, в этом мире мамашек. Я и не помню, сколько раз он просыпался. Может, застудился, а может, и предчувствовал что. Но ей то ли спать хотелось, то ли не верила, что ему надо, но она его так и не вывела в туалет.

Это, наверное, и было последнее запоминающееся — нитье его про «посикать». А потом уже помню, как снаружи стою. Детали? А зачем детали? Дать мозгу переработать... Что там было, вспомнить бы... Светало уже. Такое розоватое небо, лесополоса. Звуков совсем не помню, запахов тоже. Наверное, пахло свежестью в такое раннее время, но это я уже додумываю... Нет, с деталями, кажется, плохо, но я хорошо помню мысли. Одни и те же мысли в голове крутились.

Вот я стою там с телефоном. А как я его с собой вытащила, кстати? Обычно в поезде кладу под подушку, но если б он под подушкой был, тогда я его не нашла бы. Видимо, в кармане оставила. Неважно. Так вот я стою, а в голове как мантра: надо позвонить, кому-то надо звонить. И чувствую, что голова очень тяжело работает, но я знаю, что надо в таких случаях кому-то звонить. В фильмах так показывают. Но кому? Я же не помню номера, не помню, кому хочу набрать, но хочу... Потом тыкаю в телефон, нажимаю на зеленую трубку, там выходят последние из набранных. Первый сверху— «Венька».

Я когда уходила с нашей встречи из ресторана, со всеми своими попрощалась, а Венька куда-то отошел. Мне захотелось его обнять на прощание, а время поджимало, поезд. Я специально взяла поезд на ту же ночь, чтобы не реветь потом дома у мамы после встречи выпускников. В дороге как-то полегче: оставляешь там эти свои слезы, сдаешь их в сырой наволочке проводнице, выходишь на перрон как будто обновленный... В общем, пора мне уже было на поезд, мы все сфотографировались раз двадцать, обнялись, а Веньки нет. Я ему и позвонила.

Венька к нам пришел в середине первого класса. Такой чуть пухлый, добродушный и очень стеснительный. В девяносто третьем не было всяких там соцсетей и мобильных телефонов, поэтому информация между мамочками поставлялась исключительно посредством городских телефонов или во время

утренних проводов в школу. А поскольку, как я уже сказала, добрая половина из нас жила в коммуналках, то и зависеть на общеквартирных телефонах было неудобно. Потому причины появления Веньки, вот так вот — в середине года («самого важного года в жизни каждого ученика» — гордо втолковывала нашим неактивным мамкам директриса на торжественной сентябрьской линейке), нам стали известны только спустя месяца полтора. Спросить напрямую мы не решались.

Дело в том, что Венька каждую перемену бегал вниз в холл, где его ждала пожилая дама. Гу-вер-нант-ка, — так сказала Лизка, которой это слово поведала, в свою очередь, ее аристократическая бабуля. Венькина дама сидела там все наши бесконечные четыре урока, и он на переменах не задерживался с приземленными одноклассниками, а бежал сразу вниз к этой прекрасной гувернантке, которая выуживала из своей сумки то пирожок, то сок с трубочкой (это вам не домашний компот в банке), то игру «Ну, погоди!» Мы мельком бегали подглядывать, делая вид, что нам нужен туалет именно на первом этаже (это был единственный туалет с закрывающимися кабинками, на других этажах мы довольствовались просто перегородками-стенками).

И всем тогда казалось, что Венька точно какой-то особенный, избранный. Он и в школе появлялся редко, мог по целым неделям отсутствовать. Учительница говорила, что он много болеет, но нас-то не проведешь: он совсем не был похож на болезненного Стасика, который всегда ходил в шарфиках и закапывал в нос сок алоэ домашнего отжима, вечно теряя свои пипетки и ватки из уха. От Стасика пахло звездочкой, а волосы были сальные, потому что родители старались поменьше его купать, дабы не разболелся.

Венька же был щекастым, причесанным, от него пахло блинами и вкусным банановым шампунем. И от необщительности он казался еще более загадочным.

Привлекательности образу Веньки добавила открывшаяся неизвестно каким образом правда, что в предыдущей школе он подрался с учительницей. Эта история передавалась из уст в уста нашими мамами и обростала все более интересными подробностями. Венька совсем не был похож на драчуна. Но наша учительница с ним общалась очень ласково, что дало нам веские основания предполагать, что его даже классная побаивается. Кому ж хочется получить. Мальчишки его опасались, а мы не общались от стеснительности. Не уверена, замечал ли он это.

А потом к концу года на родительское собрание пришла Венькина мама. Совсем не такая, какой должна быть мама мальчика с гувернанткой и свитером SEGA. Оказалось, что ежедневную вахту в школе с Венькой несет самая обыкновенная его родная бабушка. А все потому, что в предыдущей школе классуха неудачно попыталась заставить домашнего Веньку съесть кашу «Дружба» — бесплатный дар нашего развалившегося государства. Кто не знает, это такая каша из недоваренного пшена и переварившегося риса. Как будто вы ее уже съели, вас стошнило и теперь смотрите на результат.

Венька подобной каши, думаю, никогда не видел, потому как в сад не ходил, а с пяти лет умел сам себе что-то приготовить (это он нам уже потом рассказал, в старшей школе). В общем, такой вот домашний привередливый хомяк учительницу явно разозлил, и она попыталась его схватить за лицо, чтобы кашу эту впихнуть. А Венька — видимо, от неожиданности — дернулся, и училкины ногти оставили на его щеке «огромные царапины». Уж не знаю, сколько в этой истории было фантазии наших мам, сколько Венькиной мамы и сколько его собственной. В общем, «ребенок испытал глубокий шок и отказывался ходить в школу два месяца».

Прекрасная Венькина мама и не настаивала. Она вообще и дальше никогда не настаивала. Она нашла знакомую знакомых —

нашу классную, душевно с ней поговорила, сдобрила подарками и получила гарантию теплого отношения к сыну на ближайшие два с половиной года. Когда вся история прояснилась, за окном был уже апрель, Венька после собрания появлялся раза три от силы, а мы переваривали разочарование.

В сентябре второго класса Венька стал для нас обычным домашним сыночком. Хотя бабушка к тому времени перестала его провожать. Интересы он уже не вызывал, набрал еще килограмм пять веса, и мы так и не начали с ним общаться. Опять-таки не уверена, заметил ли он перемены.

Потом после началки нас всех перемешали. И в средней школе Венька начал общаться с мальчишками. Кажется, они ходили друг к другу в гости играть в приставку или еще что.

Думаю, втихаря многие ему завидовали. У Веньки были идеальные, не замороженные, очень простые родители: мама продавец, папа водитель. Они разрешали ему не ходить в школу неделями при условии, что он «болеет» дома. А Веньке другого и не надо было. Но из-за его постоянных «болезней», класса до девятого Венька был каким-то отдельным от нас, домашним и не компанейским.

Почему я рассказываю про это? А про что мне рассказывать. Вы, женщина, если хотите, можете сами поговорить. Просто никто не захотел, вот я и начала. Нас тут и собрали, чтобы мы говорили, — коллективное проживание психотравмы. А у меня мысль с другой стороны заходит. Вам, видимо, кажется, что я что-то не то рассказываю? Но вы не понимаете: именно это и важно! Я же, может, только сейчас поняла, кому мне на самом деле хотелось позвонить там, посреди лесополосы. Нет, не маме. Маму пугать нельзя, я маму люблю. Надо звонить не тому, о ком нужно заботиться, а тому, кто сам может о тебе позаботиться. Как-то мальчишки рассказали, как Венька им дома блинов нажарил, потому что жрать хотелось, а денег на магазин не было. С таким удивлением об этом рассказывали. Он даже и не

спрашивал: просто пошел на кухню и начал готовить, пока все зависали у приставки, мечтая вслух о воооот таком бигмаке.

О бигмаке, да. Пацан этот в купе, он все, кстати, тоже жужжал перед сном про «Макдоналдс». Такой мелкий, а уже на фаст-фуде. Будет страдать, как Венька в детстве. Хотя в детстве, наверное, Венька еще не страдал. На физру не ходил, так что смеяться поводов не было. К тому же еще и часто угощал нас шоколадками. А подростком вес начал набирать очень быстро. Тогда я думала, что это у него гормональное. Мама мне говорила постоянно: прыщи — это у тебя гормональное, настроения нет — это гормоны, грудь не растет — мало гормонов. Удобный способ не отвечать на мои вопросы и не решать мои проблемы. Но в тот момент жизни вполне действенно. Поэтому проблемы одноклассников я тоже списывала на их гормоны.

Я вот думаю... а теперь я смогу списывать все свои проблемы на эту вот ночь? Сейчас же модно — травматический опыт, проживание травмы. Что-то из серии «так и не вышла замуж, слишком сложно стало доверять такому миру» или «сильно растолстела после такого травматического опыта, заедала страхи».

Кстати, про растолстела. Венька нас однажды очень удивил своими достижениями. Мы в старших классах очень сдружились, он стал для нас своим в компании. Первый год после выпуска мы каждую неделю встречались, пили, болтали, а под конец первого курса выяснилось, что трое из нас чуть не вылетели из института. В итоге второй курс прошел под знаком активной учебы, и мы встречались на посиделки очень редко, а Венька учился на заочном и работал, потому к нам вообще год не присоединялся, мы его не видели, а парни говорили, что он, кажется, немного сбросил.

И вот представьте себе, встреча выпускников через два года после окончания. Мы даже решили цивилизованно, не «на камне» в сквере, а в кафе. Ну ладно, в «кафе» громко сказано, — в «Кружке». Пивнушка для молодых. Сейчас уже, наверное, их

и нет, а тогда там можно было взять их фирменного пива за полтинник и сухариков, насыпанных из пачки «Три корочки» на большую тарелку. Если денег побольше, то раскошиться можно и на «кошку в лаваше».

Так вот сидим нашей компанией. И тут входит Венька. Входит, как обычно, осторожно, как будто боясь что-то задеть. Точнее не Венька, а половина его. Он скинул, наверное, килограммов сто! Ну, или пятьдесят. Короче, для нас, девчонок, цифра нереальная! И вот он заходит. В вельветовой пижонской ветровке, как всегда, вкусно пахнущий. Раза в два как уменьшенный. Глаза стали такие выразительные. Парни, конечно, со своим дебильным «красава», а мы просто помолчали, поулыбались. И заказывает себе Венька не пиво, а чай с каким-то тортом. Парни давай ржать, а он говорит: «Да че, у меня второе свидание сегодня, вот девушку нашел, не хочу, чтобы пахло». Мы с Лизкой переглянулись даже! Никита мой, чтоб вы понимали, в тот момент наворачивает сухарики с чесноком, Лизкин Паша вот эту вот шаурму, со стекающим по его подбородку майонезом, а наш Венька...

Вообще взбесил, конечно. Выпендрожник. Ну ладно, думаем, у него ж первые отношения. Так что простительно. В конце концов, даже порадовались за Веньку. Он ведь по характеру очень приятный.

Вообще, мы с Никитой считались самой стабильной парой компании, мы с седьмого класса встречались. Жили вместе — то у моих, то у его, а Венька с этой своей — в отдельную хату. Где-то на окраине совсем, но свое. Мы в гости к ним приезжали, стали у них собираться. Странно было, как будто мы все дети, а они такие взрослые, у себя принимают. И уже как-то несерьезно просто пива с чипсами попить. Приходишь к ним, запахи с кухни — отпад, конечно, Венька готовит, а эта его бабца только ходит и поглаживает его. То поцелует сзади, то за столом за руку возьмет. И как-то так у нее это просто все выходило, что

даже раздражало. Думаю, мне Никиту и не хотелось никогда целовать вот так, мимоходом, как будто невзначай. Да он бы удивился, если б я так. Короче, странной она нам казалась тогда, его бабца, не нашего типа. Мы были уверены, что у них ненадолго. Уж очень они разные.

Дальше мы вот так пару лет продолжали общаться, но постепенно начали каждый своей жизнью жить, встречаться реже. На свадьбу к себе Венька нас всех позвал. И даже там, даже на свадьбе как-то у них все по-иному вышло. Не было конкурсов, деньги не собирали, просили ото всех именно подарки, а не конверты, чтобы вот какую-то вещь или билеты куда-нибудь. И даже никто не напился. И вроде весело, но нам с Лизкой как будто и не очень. Я всё смотрела на Веньку: десять лет в одном классе, мы его самые близкие друзья, казалось, могли наперед угадать, как у него сложится, а вот смотришь, и как будто совсем другой человек, которого раньше и не замечали. Почему не замечали...

Он, знаете, так глядел на эту свою, как будто первый раз увидел и влюбился. А у нее и платье без фаты, обычное какое-то белое не пышное, и девичника не было, и машина не лимузин, а какая-то ретротачка. В общем все не так, как мне хотелось бы на своей свадьбе. Но весь день он на нее смотрел, не отрываясь.

И вроде обида такая зародилась. Не на Веньку, а на жизнь. Как будто тогда поняла, что на меня вот так никто не смотрит, и, быть может, никогда и не будет никто так смотреть. Мы после этой свадьбы поцапались с Никитой очень сильно. А через месяц примерно и расстались. Точнее, начали расставаться — еще полгода то сойдемся, то снова тошно. Лизка, кстати, тоже вскоре со своим Пашей рассталась. Не то что бы свадьба Венькина виновата, но, может, увидели то, что раньше не замечали...

Мне кажется, что жизнь на самом деле так и строится, не плавно, а вот такими рывками. Что скажете, господин ведущий? Может, опыт этот не медленно накапливается, а четко

есть вехи, события, которые тебя меняют? Ведь есть же конкретный день, когда ребенок первый раз пошел, когда в розетку залез, утюгом обжегся. Вот эта ночь, например, которая нас всех здесь собрала. После нее же тоже наверняка мы должны начать замечать что-то, что раньше было неважно или незаметно? Как во всех этих историях преодоления себя. Вы вот все тут молчите, а разве у вас не так? Что? Мой Венька? А, интересно стало! Вот вы же мне, женщина, сначала сказали, что я не о том говорю, а ведь получается, о том. Да какой он мой... В том-то и дело, что не мой и не был моим.

Я когда рассталась с Никитой, взяла академ и уехала в Питер к тете. Она устроила к себе в компанию стажером. Они разрабатывали онлайн-игры. На самом деле меня взяли кружки подавать да бумагу заказывать поначалу. Я только там вдруг заметила, что вообще-то можно по-другому жизнь строить, что люди могут балдеть от своей работы. Там такие все активные были, постепенно и меня затащило. И как-то потихоньку развалилась наша центровая московская компания. Только встречи выпускников и остались.

Потом, пару лет назад, Венька пришел на очередной сбор снова немного потолстевшим, а в этом году так и вовсе, кажется, вернул свой школьный вес. Ну, думаю, наверное, развелись, вот и разнесло. Уже ж не гормоны в таком возрасте, а стресс, всё на него теперь впору списывать. Потом прикинула, что, может, он сначала растолстел, а потом она его бросила, ведь в отличие от нас, она-то с ним познакомилась, когда он был в прекрасной форме, и другим его не видела. В любом случае, думаю, они уже развелись, так что не я одна такая неудачница на сегодняшней встрече.

А в конце вечера он поворачивается ко входу, машет, и тут вдруг видим: эта его бабца идет к нашему столику. Улыбается, здоровается и целует его так радостно, как будто год не видела, представляете? Она сама такая миниатюрная, роста маленького.

И Венька встает, громила под два метра, чтобы ветровку ей снять! Сама будто не может. И такие они ну невозможно разные, что просто физически захотелось его от нее отлепить.

Мда, вот такая история у них. Что я? Когда позвонила? После катастрофы? А, так я ему и не позвонила, конечно. Хватило мозгов на то, чтобы не звонить чужому мужу в пять утра.

Венька — он из заботливых. Знаете, может, из мужиков-подкаблучников, над которыми другие пацаны потешаются, но на таких, как он, наверное, и держатся браки. В инстаграме Венька выкладывает фотки своих эклеров и мясных рулетов, дочку только со спины, оберегает. Принципиальный.

И так тошно вот сейчас думать об этом. Не о том, что у меня такого конкретно Веньки нет, а о том, что, может, смысл жизни был совсем в другом. Что вот так перевернется твой поезд, выкарабкаешься, а позвонить некому. Все еще может быть? Спасибо за надежду. Знаете, может, конечно. Но не все. Я знаю, вы тут ведущий, и вы нас должны как-то поддержать, но это вы лучше вот им, остальным говорите. Я тут уже два часа свои истории рассказываю, как-то полегчало. Та ночь меня уже не пугает. Внезапно — да, непредсказуемо — конечно, в сам момент страшно, когда не понимаешь, что происходит. Но я даже не слышала или не запомнила, чтобы кто-то кричал или рыдал. Так что считайте, что мне вы помогли, если вы тут на тренинге именно с аварией работаете. А вот с моей жизнью — с ней вот так за пару часов и не помочь. Жила себе спокойно, а теперь на тебе — открытие. Не ходите на встречи выпускников, вот честное слово, только лишние переживания.

А мальчика? Мальчика-то вытащили. Обоссанного, конечно. Но ничего, мамка жива, бабка жива. А что не дотерпел, так это и взрослый с перепугу может.

НЕБО, ЛЮБОВЬ МОЯ

1

Вчера антресоль разбирала в коридоре, а там в углу старый ящик, в котором посылки по почте приходили. Помнишь, Мишенька? Как же ты любил эти посылки! Берёг потом, у нас этих ящиков штук двенадцать накопилось, на каждый Новый год и на день рождения получал. Ставить было некуда, а ты все выбросить не давал, пересчитывал. Помнишь, домик сделал, трехэтажный? Для нашей семьи, чтобы и мы с тобой в нем, и папа: «Заведем хозяйство, и папа уйдет с работы, будем клубнику выращивать и продавать». Очень ты эту клубнику любил.

А потом ты аэродром из них сделал — «папину работу», самолеты у тебя, как ракеты, взлетали без разгону: сразу вверх. Я на это указала, так ты потребовал объяснить, как летают, на аэродром просился. И не вразумить тебя было, что взять-то его негде. Это ведь только лет семь, как и на наш совхоз выделили самолет, да ты и сам помнишь, думаю. А в твое детство до города пятьдесят километров на автобусе, да потом ночь на поезде до Свердловска, чтобы ближайший аэропорт посмотреть — непосильная для меня идея. Пришлось по библиотекам книги искать. Почитаешь тебе, ты потом неделю «оттачиваешь мастерство». Приду, бывало, к вечеру домой, с ног валюсь, еще куча тетрадок на проверку, а тут твои ящики навалены, замаскированный аэродром, оказывается, у тебя, военные действия.

Если б не Марина с почты, так и получал бы ты свои посылки. Она ведь меня сбила с толку. Говорит, чего, мол, ты каждый

раз ящик покупаешь — тащи свой из дома, я тебе заново сургучом опломбирую, денег, что ль, много? А денег, Мишенька, было совсем в обрез. Кто мог подумать, что ты эти ящики внутри подписывал! Может, ты раньше догадался, потому и помечал их, чтобы проверить... Да нет, расстроился по-настоящему, значит, верил. Так все крушил, думала, милицию вызывать. А то ведь смешно сказать: помогите, сын дом громит. И сколько сыну? А ему девять! Ты совсем бешеный стал, только ремнем и вышло, иначе разнес бы всё. И то, нахлестала тебя, а потом жалела: оба сидели, плакали, валерьянку пили. Как тебя тут утетишь? Это жизнь, горькая правда, что нужен ты был только мне. Что я могла тебе сказать? Сколько могла, берегла тебя от этого подлеца, а раз узнал — то уж жить по-новому, без детских сказок, без утешений.

Честно говоря, думала, ты в самолеты играть перестанешь, раз папочка твой оказался никаким не летчиком. Но, видно, характер у тебя такой был, жесткий. Ты сильно повзрослел с того времени. Удивительно, как ты это тогда сказал: «Отец мой — подонок, раз тебя бросил. Но ведь он и не летчик. Был бы летчик — я бы выбросил все эти самолетики. А теперь я могу стать летчиком, потому что он им никогда не был». Мне очень понравилось, как ты это сказал. И как повзрослел после правды. Правда, она всегда лучше.

Ты и там, пожалуйста, говори им всем всегда правду. Это надежнее и проще. Помнишь, как я всегда просила, умоляла тебя говорить только правду. Единственное, за что и могла ремнем, так только за ложь. Ты ведь не обижаешься на меня? Пойми, по-другому было просто нельзя, невозможно отучить. Зато ты вырос хорошим человеком. Что бы ни случилось, я все равно всегда буду любить тебя и уверена, что ты хороший. Ошибиться все могут.

А как у тебя там сейчас, никто не обижает? Это, конечно, совсем другой у вас мир, все сложнее, несправедливости много.

Ты, пожалуйста, старайся никого не провоцировать. Уж как-то у тебя это постоянно получалось. Я же вот что писать начала про ящик. Я там нашла часть своих записей, про твое детство. Такой ты был для меня удивительный, каждый шаг хотелось записывать. На деле, конечно, редко получалось писать, только самые значимые события. Открываю — а там заметка про цирк. Тебе тогда сколько, лет десять, наверное, было? Это же ленинградский, кажется, цирк с гастрольями к нам приехал. До этого к нам цирковые никогда не заезжали. Мы с тобой на самом раннем автобусе поехали, переживали, вдруг потом не вобьемся, много поселковых туда билеты получили, человек пятьдесят. Обязательно хотела тебя сводить. А ты уже тогда серьезным стал: не мальчик с фантазиями про самолеттики, а подросток с четкими планами. Да что я тебе это пишу, ты ведь и так помнишь. Дети же не забывают.

А я-то не про клоуна этого нелепого хотела, которого ты довел (хотя и сердилась я очень), а про тебя самого. Помню, сижу с тобой, и ты серьезный, взрослый как будто. А я на ухо твое гляжу; оно почти прозрачное, такое нежное, совсем детское. И вспоминаю, как компрессами тебя крохой обкладывала, ушки твои руками грела, теплом хотела поделиться. И мне в этом цирке так захотелось тебя прижать, покачать, погладить. Это же самое тяжелое, Мишенька, когда ребенку твоему плохо. А отиты эти не отлипали от тебя. Сядешь ночью у кровати, и только гладишь тебя, гладишь всего укутанного, лоб трогаешь каждые пять минут и страдаешь, что боль твою забрать не можешь.

Я вот сейчас, Мишенька, за тебя молюсь; дома, конечно, про себя, хотя сейчас уже у нас с этим поспокойнее. И знаешь, легче становится, намного легче. Думаю, ты чувствуешь, тебе тоже должно становиться легче. Хоть и не пишешь мне, но все равно: материнская любовь сильнее всего на свете, она к тебе теплом придет, обязательно.

Да, и про клоуна того. Ты, пожалуйста, там никого не провоцируй, не вызывай на себя злость. То ведь детство было, а теперь уже взрослая жизнь. Много злых людей.

Ты береги себя, Миша. Будь честным и сильным.

Люблю тебя.

Мама.

2

Мразь. Пожалеешь. Вернется тебе. Легкомоторный кукурузник. Поля облетать с пестицидами. Убивать всякую дрянь. Трехканальный распылитель установили (очкастые ученые обдумывали, как бы поэффективнее убивать): одна секунда — и двадцать кило порошка карой небесной на всё живое и мерзкое. У меня миссия — убивать дрянь. Ты — дрянь. Логическая цепочка, дальше — сама.

Все рассчитал. Панелька: четвертый этаж, три окна на сторону подъезда, одно во двор. Твоё — на подъезд, посередине. Между кухней и вашей гостиной. Стены картонные: целоваться даже боялись — услышат. Зато теперь мне в помощь: пробить на полной скорости легко, раскрошить гнездо твое, гадина, чтобы дыра зияющая потом всем напоминала; у нас же пока залатают — год все любоваться будут, помнить и башкой думать. Главное — попасть. У меня миссия: убивать дрянь.

Всегда вылетаем засветло. Пока роса — хорошо берет. Жаль, гада твоего не будет. Заодно бы обоих вас грохнул. Но нет же — папочка твой его, как и меня, не пускает до свадьбы в дом — только в роли гостя на диванчике сидеть перед ним, телевизор смотреть, отвеживать пирога, вести разговоры про перспективы страны.

Ну что, родной мой, с добрым последним утром тебя! Отдохнул за ночь? Сейчас полетим. На этот раз настоящий полет будет, как у твоих предков — боевой, на поражение, порадуешься напоследок, вырвемся из этой дыры.

Сколько мы ныкались по углам. Это и не секс, а гонка была, как в разведке, чтобы никто не застукал, успеть поскорее, да потише, чтобы ни звука, ни писка. Зверем совсем стал. Махнул: зверем. Зверьком. Сурикатом. Вечно в готовности слинять.

Как в детстве под одеялом возишься: и душно, и хочется, и страшно, что мать зайдет. Один раз застукала — пряжкой руки хлестала. Держать заставляла прямо вытянутыми, иначе, говорит, придется тебя по другому месту хлестануть, чтоб не смел больше. И она говорила точно не про зад. На всю жизнь меня психом сделала по этой части. В туалет поссать заходил — отсчитывал до пятнадцати, чтобы ни-ни задержаться, вдруг не поверит, решит, что и тут развлекаюсь.

Давай, родной, выжимаем с тобой по полной, мы сегодня холостые. Может, до ста восьмидесяти дадим, жаль, не видит никто, да нам и не нужны свидетели: почуют неладное, и разбегутся наши паразиты.

Еще капризничала ты потом, что я быстрый такой. Удовольствия хотелось... Так ты б с папашкой своим поговорила, чтобы не по подъездам и дачам, а в кровати лежать, как в фильмах твоих. Нам ведь не по шестнадцать уже было. И впрямь как сурикат или кролик: только плоть, только скорее, пока не нашли.

Вот он, впереди. Белый коробок твой. В поселке один такой высокий. Остальные по два этажа, а этот вона издалека видно. Сначала покружить хотел, помучить. Помучить...

Любил ведь тебя! Банально. Школьная любовь. Все составляющие: твои любимые «заручку», мои любимые «распустиволосы». Ландышем пахли — это почти никак, это как будто свежестью снега. Или нет уже снега, когда ландыши? Ты бы поправила меня, рассмеявшись, да молчал о таком. Просто носом утыкался, а ты хихикала, и в волосах твоих журчал этот смех. И макушкой терлась, так что щекотно. Терпел, а ведь хотелось всю тебя вобрать в тот момент, слиться с тобой, запахом наполниться,

с трудом сдерживался, только обнимал еще крепче, пока ты не ойкала, что задушу.

А в летное поступил — тянуло обратно невозможно. Письма твои всегда ползущими вверх строчками утешали. Почерк мелкий, аккуратный, как в прописях, а строчки эти, как у ребенка, взмывали. Когда первые тренировочные полеты пошли, я твои строчки представлял, как будто по ним взлетаю, аккуратно так, ровно.

И обязательно в конце точка, четкая, после «Люблю, жду, твоя». Постепенно письма твои повзрослели. После точек засветились постскриптумы. Тогда уже остыла? Как будто после люблю-жду-твоя может быть еще что-то, как будто там еще «но» какое-то может быть, послесловие... Разве нужно это «но» после «твоя»? Только если «твоя» с оговоркой, с условием, с подвохом. Ты вся и оказалась с условием. А я такой безусловный, ни квартиры, ни комнаты. С матерью в однушке всю жизнь.

После летного высоту на девять десятых обрезали, только на кукурузниках и летать. Одна подпись одного упыря из одной комиссии — и всё: была мечта, и нет мечты. Только мне тогда что, мне к тебе хотелось, небо не отняли — и на том спасибо. А тебе-то тоже крылья подрезало. Одно дело парень в летном: в отпуск приезжает в форме, перспективы, планы на международную авиацию, города, страны. Все выбраться мечтала из нашего поселка, да папашка не пускал одну. Ждала, что со мной куда-то свалишь, будем, как взрослые, в своем жилье, пусть и в комнате, но своей, положенной. Вывезу в город, там на стюардессу отучишься, вместе мир посмотрим. А тут на тебе, дождалась. Приехал. И теперь ты девушка местного авиатора, поливающего поля отравой, а не жена пилота дальних сообщений. И перспектив ноль. И сдулась ты со всеми своими летящими строчками.

Встречи реже. Взгляды жестче. Фразы короче.

И в каждой недовольство.

Все чаще «не могу», все больше тишины, все меньше нас, все злее «ты».

И вот на тебе, финиш.

Изменила.

Глупая.

И куда нам с этим обоим? Тебе стыд, блуд. Мне срам, злость.

Был бы выход, я б пошел. Но нет его, понимаешь?

Только так, только уйти сразу обоим. Ты ведь ему тоже не нужна будешь, я же знаю. Ему только смех, он запах твой от любой другой не отличит. Волосы твои скажет остричь, не модно сейчас. Губы красишь ярко. Так и до духов дойдешь, станешь пахнуть чем-то чужим, диким. Бросит тебя, а я уже ничем не помогу. Остается только спасти. И тебя, и себя, и наше то. Я справлюсь. Дом твой знакомый. Все-таки не сразу, все-таки еще разок облететь, чтобы вспомнить, уйти с этим, забрать с собой всё это.

Небо какое, небо мое! Как мечтал о тебе тогда в девятом классе, на окраинном поле лежа. Никто из наших не выберется дальше райцентра, думал; только я так прорвусь, сразу ввысь взмою. Ага, прежде чем ввысь, ты сначала все круги подземелья претерпи. Бился я за тебя, за твою свободу, за легкость, за эти «полет разрешаю». Через всех упырей, комиссии, наряды, штрафные, дежурства. Через время бесконечное до первого своего полета. Небо — ты ж у меня первое было. До тебя девственник. А тут — такой первый раз, что всю жизнь вспоминать, детям рассказать не стыдно. Чьим теперь детям?

Ну все, давай снижаться — и на разворот. Надо доделать и больше не мучиться.

Поселок наш, с высоты такой сонный, незащищенный никак. А если сейчас война, а он весь совсем открытый, ты глянь, почему ж его никто не охраняет? Ведь никто и не думает, что брошены мы все, на ладони выставлены любому уроду — нас же сразу заметят, уничтожат или захватят. Как тебя, глупая

моя. Ты ведь просто доверчивая. Ты ведь тоже открытая такая, как на ладони... Ты ведь не хотела?! Это же все он! Это ж он! Тебе б и в голову самой не пришло! А ты, небось, и признаться постеснялась?! Он тебя, как вот этот наш поселок, разрушил! Его, его же надо, а не тебя, не нас с тобой! Его уничтожить! Твою мать, ведь уже не набрать, крен дам, зацеплю. Куда я?!

Хоть одну молитву вспомнить, помоги мне, небо, помоги-помоги-помоги! Это ведь не она! Я ведь не хотел! Я не могу! Это не я, не я, слышишь? Где же небо, теперь поздно, теперь только земля. Земля-земля, помоги, прими обратно, только дай сесть. Только дай сесть! Только дай не убить, только не убей. Не убей, не забирай меня!

3

— Проверил?

— Да, можно передавать.

— Уверен?

— Семёныч, ты это мне? Я тут восемь лет!

— Я с тобой сейчас не как Семёныч.

— Есть, товарищ полковник. Все проверил. Передачу одобряю. Разрешите идти?

— Иди, если надо. Да погоди.

— Слушаю, товарищ полковник!

— Перепроверять не надо?

— Дело ваше, — пожал плечами.

— Да ты не обижайся, Виктор. Из-за этого дела все на ушах. Каждую неделю вызывают туда. — Полковник многозначительно потыкал пальцем вверх. — Умотали.

— Я понимаю, прогремело мощно. Но чего от нас-то? Не мы ж ему самолет дали. Мы только с последствиями работаем.

— Они хотят теперь систему какую-то разработать, чтобы такого не случалось. Потому и роят, каждую деталь, говорят,

проанализируйте. Знал ли кто, вдруг был в сговоре. Я тебя как друга прошу: отнесись внимательней. Все письма к нему на контроле.

— Это ж от матери письмо. Сам посуди, ну какая мать своего сына от такого не удержала бы, если б знала?!

— Да мне почем знать! — Полковник сердито схватился за полупустой бокал с чаем. — Я детдомовский. Меня моя вообще бросила, но я ж самолетами людей не убиваю!

— Он тоже не убил. Я это, присяду?

Полковник нетерпеливо показал рукой на стул:

— Не убил. А скольких бы положил? Вот ты, ты уверен в показаниях, что он передумал, а не просто двигатель забарахлил? Инженеры-то наши ничего подтвердить не смогли, снова такой же пустой отчет от них: «Самолет при падении повредился, собрать технические данные о причинах падения невозможно». А может, он раньше заглох у него, вот и план не реализовался?! А может, у него голова закружилась или приспичило? Кто теперь разберет: одумался или обстоятельства?

Виктор вздохнул, покрутил головой, щурясь от неприятного хруста в районе шеи.

— Ты начальник, ты результаты экспертиз видел. Из Сербского отчет тоже.

— Видел-видел. — Полковник отпил чай, покривился: остывший. — Ты мне по-человечески объясни, если мы его вменяемым признаём, вот тогда как объяснить, что у него такое могло в башке родиться?!

— Ну ты смешной человек... — Виктор добродушно улыбнулся. — Каждый год маньяков отбираем, обследуем, переправляем, а ты все удивляешься.

— Так он все-таки маньяк? Урод?

— Семёныч, не обобщай. Просто психопат. Не будь у него этого самолета — хрен бы он на что-то подобное решился. Мать

вон подтверждает в письмах, приступы неконтролируемой агрессии уже в детстве случались. А когда в летчики взяли — так просто, считай, дали ему в руки гранату.

— Как вот они его в летном проглядели!

— В принципе они не проглядели, его ж до гражданской авиации так и не допустили, когда морду какому-то местному начальнику набил. Считай, его разжаловали, но самолетик сельскохозяйственный дали. Представляешь, если б он пассажирский так грохнул?

— Урод. — Полковник встал, вылил остатки чая в полузасохший цветок на окне. — У-род.

— Ну что ты заладил: урод-урод.

— Ты его пожалей еще! — быстрыми шагами вернулся к столу. — Как земля таких носит?! Вредитель.

Виктор снова покрутил головой, вытянул спину, кряхтя выдохнул:

— По мне, так просто придурок. Неудачник какой-то. Летное окончил — псевдосамолетик дали. — Виктор вытянул руку и начал загибать пальцы. — Бабу нашел — ушла к друтому. Решил отомстить — так и то не смог! Хотел катастрофу века, а устроил себе перелом обеих ног и выбитые зубы! — Виктор улыбнулся, разведя руками. — Ему ж даже при признании вины — колония. Его ээки засмеют!

Полковник мрачно покосился и набрал номер телефона:

— Чаю мне. Поживее! — положил трубку, прошелся к окну, помолчал. — Так чего она там пишет ему?

— Мать-то? Да что пишет, что любит, как любая... — Виктор запнулся и покосился на полковника.

Полковник стоял, отвернувшись к окну, заложив руки за спину, медленно покачивался как маятник, с пятки на носок. Деревья почти облетели, окруженный со всех сторон корпусами с решетками двор тоже казался одним из заключенных.

— Любит.

ПОСМОТРИ НА МЕНЯ

Последнее, что он слышал, — Витькин голос: «Юрка, назад! Обвал!» Потом просто глаза закрыл на мгновение и вот — вокруг всё тихо. И темно. Совсем темно, будто свет в подвале выключили. А ведь он был на втором этаже трехэтажки. Даже если завалило — хоть щели должны бы остаться.

Попробовал вдохнуть — грудь не придавило, а в легких — словно мешок пыли, закашлялся, понял, что дышать лучше поверхностно, по чуть-чуть. Хотел было прикрыть рот рукавом, но правую руку чем-то пережало, причем непонятно, в каком месте — чувствительность терялась сразу от плеча. Левую осторожно, по сантиметру, начал подтягивать, нащупал живот, провел пальцами вверх до лица — как будто не мокро, значит без кровотечений, уже неплохо. Надо было пошевелить ногами, но вдруг стало страшно — может, не получится, может, там перебило, и что тогда — с этими мыслями лежать? Лучше уж не знать, все равно самому не выбраться.

Юра вспомнил, что заходили они в этот полуобвалившийся дом где-то в районе обеда. Значит, в запасе еще буквально пара часов, прежде чем начнет темнеть и резко похолодает. В запасе у них, чтобы вытащить его при свете. В запасе у него, чтобы не заснуть от холода здесь навсегда.

Он подзабыл этот пронизывающий декабрьский холод первых ночей после прилета. Уже после нескольких часов разбора завалов стало ясно, что в многоэтажных домах, даже уцелевших, спать было бы безумием: толчки периодически повторялись, добывая все больше надтреснутых зданий. Но и на улице в декабре даже под сваленными ворохом куртками и найденными

одеялами в первые сутки их жутко продувало. Когда ты валился с ног где-то рядом с работающей твоей бригадой, было все равно, как спать, лишь бы на пару часов закрыть глаза, расслабить ноющие с непривычки руки, выпрямить спину. Но потом, после такого сна ты вставал как будто еще более разбитый, голова гудела, тело бросало то в озноб, то в жар, а тебе нужно было снова разгрести, как можно скорее, потому что счет шел на минуты. Тогда еще вытаскивали только живых, копая по голосам, тогда еще они были. Через дня три начали подвозить гробы, выкладывая штабелями в разных районах, чтобы бригадам не приходилось тратить время на перетаскивание тел. В любой другой момент жизни это показалось бы странным зрелищем — такие вот башни из свежеструганых деревянных коробок для тел, но не здесь, где штабеля эти растаскивали и заполняли за день.

Когда Юра предложил спать в гробах, ребята посмотрели на него с недоверием. Его самого не пугали суеверные страхи про наклеивание смерти и прочее, но вот опасение, что по ошибке такой гроб могут заколотить и вывезти к захоронениям, а ты и проснуться не успеешь, зудело в нем каждый раз, когда он засыпал. Правда, недолго: после целого дня непрерывного тяжелого физического труда в сон проваливались за считанные минуты. В первый раз попробовали спать в открытом гробу, для надежности, а потом уже и крышкой стали прикрываться, чтобы совсем не дуло. Такой гроб обычно притаскивали к месту завала, где работала твоя бригада, и там по очереди спали по паре часов. В гробах было тепло, пахло опилками, свежим деревом и покоем в противовес уличным запахам пыли, трупов и горя.

Детский сад был первым обнаруженным зданием в районе их работы, которое практически полностью уцелело, не считая нескольких сколов. Они даже спрашивали у местного инженера, как так вышло. Оказалось, что сад не только был построен на удачном месте, но и, в отличие от большинства сложившихся,

как карточные домики, зданий, был выполнен по старым образцам: стены из двойного кирпича хорошего обжига, какие-то там сваи и стяжки, выдержанный по всем правилам фундамент.

Когда строили детский сад, город все еще привыкал к советскому режиму, и местные не очень-то и планировали отдавать своих чад в учреждение чужим теткам, ведь веками миссия воспитания лежала на матерях или добродушных армянских бабушках. Так что и строительство было неспешным, как семейная армянская трапеза в мирное время. Когда же строили все то, что теперь выросло пыльными кучами бетона, видимо, досрочно выполняли какой-то план по расселению. Пробираясь по подвалам или полуразрушенным этажам, Юра с ребятами слышали, как сыплется под тяжестью их шагов надтреснутый пол. Добровольцев сразу предупредили — все геройство на их ответственности. Никаких гарантий от обрушения, никакой пока что спецтехники, никакой по факту защиты. Только гордое название спелеоспасатели.

Перебравшись в детский сад, они бурно восхищались мягкими детскими матрасами. Сначала спали, поджав ноги, как придется, потом кто-то додумался соединить вместе четыре кровати, чтобы вытянуться во всю длину. После даже начали укрываться одеялами, со временем привыкнув к мысли, что воспитанники сюда придут явно нескоро. Юра как-то хотел даже сполоснуться в детской ногомойке, но вода была, конечно, перекрыта. Пришлось довольствоваться просто спальными местами в тепле и относительной тишине — райскими условиями после их уличных «кроватьей».

Сейчас Юра отдал бы многое даже за то, чтобы оказаться хотя бы в теплом гробу, так сильно уже пробивал озноб. Он саркастично улыбнулся своим мыслям: «В гробу еще оказаться успеешь».

— Конечно, успеешь. Уже готов? — голос раздался откуда-то сбоку. Женщина: белая кожа, черные армянские брови, только

тонкие, узкий нос с горбинкой, круглые, чуть навывкате карие глаза — красивая. Смотрела на него надменно и с едва читающейся ухмылкой. Как будто видел уже где-то — не то среди местных, не то в посольстве в Москве, не то в книге.

— Видел-видел. Я за тобой давно смотрю. Ну что, дезертир, сбежал?

— Я? Да я не солдат. Я из добровольцев! Завал пошли разбирать, и вот... — недоуменно оправдывался Юра.

— А я не про армию... Я про дом твой. — Она говорила с частыми долгими паузами, как будто проверяла, как отреагирует Юра на каждую новую реплику. — Ты зачем сюда сбежал?! — уже сердито спросила она.

Юра, немного опешив не то от надменной требовательной интонации, не то от красоты, почувствовал, что у него путаются мысли.

— Вообще-то, людей спасать... Услышал, что случилось, пришел в посольство, сказали, что добровольцы нужны, никто не едет. Я и пошел в автобус, не раздумывая.

Она смотрела как будто с сомнением или презрением.

— Героем себя выставить хочешь? А если бы не землетрясение — дома сидел бы, что ли?

Юра замолчал, не понимая, что происходит и почему ему как будто за что-то неловко. Женщина скользила по нему взглядом, выжидая. Ледяная красота ее и влекла, и отталкивала. Будто Снежная королева. Юра словно застрял в своих мыслях, сиюсь сдвинуться дальше и ответить, но голова работала плохо. Сидел бы дома? Ну, не то что бы сидел — как все, работал бы, наверное. Почему вообще вопрос так поставлен...

— Свои последние слова жене помнишь? — нетерпеливо оборвала она.

Жена... А, ну да, Ольга, там, где-то в Москве. В голове будто открылся шлюз, и мысли потекли, заструились, вылавливая из памяти обрывки разговоров и сцен...

Какие конкретно слова были последними перед его отъездом — Юра, конечно, не помнил. Они поругались. Их с Ольгой конфликты разворачивались по стандартному сценарию уже года полтора. Самое жестокое, что он кричал ей, — «лучше б я сдох». Полгода назад она в приступе своей психопатии и сама начала желать ему того же.

Как-то летом в разгаре ссоры он влетел в ванную комнату, закрыться где-то от этой ненормальной. Свет был выключен, но оказалось, за шторкой старший моется. Хотел рывкнуть, мол, в девять лет уже запирается надо. И тут сквозь шум воды услышал, как тот рыдает и что-то шепчет. Старший всегда плакал во время родительских ссор, по утрам вставал с опухшими глазами. Вот и в тот раз: жена с кухни полушипит, полуорет «чтоб ты сдох, скотина, тварь». А сын все громче бубнит: «Боженька, пожалуйста, не слушай маму. Пожалуйста, пусть папа будет жить! Пожалуйста, не слушай ее!» И так тошно от этого стало, от бессилия своего, от слез этих детских, от просьб его. Дверь прикрыл, ушел на улицу, часа четыре слонялся. Ольга потом наутро плакала, прощения просила. Как всегда. Он сам уже не просил — не верил, что есть смысл. Какая разница — кто виноват? Это уже ничего не поменяет, просто типичная модель, в которую его загоняли с детства, прививая, как щенку, правильную реакцию «виновен — стыдись — извинись».

Мысли Юры прервал чуть насмешливый голос:

— Не вспомнил? — чуть ли не глазами сверкнула. И правда, как из сказки. — Пожелал ты ей, чтобы рыдала на твоей могиле. Что ж, бойся желаний своих, я услышала тебя.

Юра как будто и не удивился: так спокойно и твердо она это произнесла, словно вопрос уже давно решенный, улаженный, результат очевиден... Рыдать жена, конечно, будет, да недолго, наверное. Скорее не столько из-за его смерти будет плакать, а оттого, что сама мысль жить дальше с воспоминанием последних их жестоких реплик будет сдавливать ей сердце. Но люди

со всем справляются. У нее останутся сыновья. Младшему всего полтора, он и не запомнил, горевать особо не станет. Ольга будет ему рассказывать что-то хорошее об отце, и в его душе папа останется героем. А вот старшему, конечно, придется несладко. Дети бывают жестоки, а он слаб духом, может, никто и не поддержит, а наоборот, будут знать, что заступиться некому. В школе, наверное, и так слывет нюней. Да и дома тоже, что ни предложишь — на все мнется, согласиться нормально не может, ногти до сих пор грызет, по сто раз проверяет с утра ранец. И жалко его, да в то же время как будто и времени не находилось мужика из него вырастить. И друзей у него, кажется, нет...

— Кажется? Хорош отец, нечего сказать. Ты когда его спрашивал про школу последний раз?

Юра не успевал проговорить вслух, как она тут же подхватывала его мысли, раскручивала в непонятном направлении, уводила от главного.

— От главного? Главное — видимо, ты сам, да твои горести-печали? Ты же хотел с ними покончить, так чего же, не рад теперь будто?

— Пацана жалко.

— А как жена его дерет ремнем — это не жалко? Тебя как лупили — до сих пор ведь помнишь: за порванную рубашку, за поцарапанный стол, за ободранные ботинки. Забыл, как в пять лет ремень сам же матери нес, ледяными вспотевшими ладошками сжимая?

— Я старшего даже пальцем... никогда, как себе в детстве слово дал. Ни разу за всю жизнь!

— Если сам не лупишь, то можно глаза закрыть на то, из комнаты уйти, пока она его лупит, в телевизор уткнуться, и ты ни при чем?

Юра хотел было что-то ответить, но как во время Ольгиных извинений почувствовал, что это ничего не поменяет. Он

молчал долго, как-то устало и без интереса отмечая, что лежал уже будто не под завалом, а в пустой пещере с высоким сводом и тусклым отсветом огня. Он молчал, проваливаясь в нескончаемые сцены своей боли — в детстве, юности, в браке. Когда Юра читал в книгах, что перед смертью у человека в сознании проносится вся жизнь, он думал, что проноситься должны хорошие моменты, а не все самое тяжелое. Хотя сейчас стало так тошно от этих воспоминаний, что и помирать вроде проще. Может, в том и суть.

Он открыл глаза, как будто ото сна через какое-то время. Сколько прошло — было неясно. Пальцы уже едва шевелились от холода. Напротив все так же стояла она: красивая, странная Снежная королева. Смотрела, не отрываясь, а ему уже и не хотелось глаза отводить. Чего стыдиться, если она и так все про него знает.

— Ты зачем упрямый такой? Я ведь тебя сколько раз предупредила, сколько не пускала сюда!

Юра не понимал, о чем идет речь: ведь его путь в Ленинакан был таким спонтанным и естественным. Из дома ушел злой после очередной ругани, где-то на улице услышал про землетрясение, поехал к посольству, оттуда в автобус, потом в самолет...

— А дальше? Я же самолет ваш не пустила туда. Забыл?

Как тут не помнить. В тот день он впервые так остро увидел обратную сторону всесоюзной дружбы. Было неясно, насколько целы взлетные полосы в Ереване, потому сажать самолет решили в Баку. Но последствия конфликта народов вылились в откровенно гадкие споры там, на аэродроме, когда местные не захотели пускать людей и грузы в помощь Армении по своим дорогам. Конечно, спустя несколько дней и враждующие поняли, что случилось, и после помогли всей страной, но в ту первую ночь всю силу южной гордости и упрямства местные обрушили на их гуманитарную миссию.

В итоге Юра и еще дюжина добровольцев решили сесть в военный вертолет, чтобы как можно быстрее доставить хоть какую-то часть груза и рабочих рук на место.

— Вспомнил, значит? Я ведь рассчитывала, что ты обратно повернешь, вам же предлагали. Так нет, мало того — остался, еще и пошел подзуживать всех, чтоб не ждали до утра!

Юра улынулся, вспоминая, как он и правда тормозил еще «зеленого», только, видимо, из училища, лейтенанта, давил то на совесть, то на страх, то на будущую благодарность от начальства за находчивость. Уговорил-таки его выделить им военный вертолет. Сейчас и сам не мог вспомнить, почему так включился, зачем носился, будто это у него кто-то под завалами лежал. Думал ли он в тот момент о людях там... Он вообще, кажется, не успел подумать. Просто внутри все кипело, адреналин в крови.

— Правильно рассуждаешь — не сочувствие тобой двигало. Все смотрела, одумаешься ли. Остановить тебя попробовала еще раз, в вертолете, так нет же! — она метнула такой взгляд, будто уничтожить его хотела. — Только такие обезумевшие от своих идей могли согласиться прыгнуть с парашютом. Из вас даже не служил ни один, герои!

Юра помнил, как и правда осекся и замолчал пилот после того, как все согласились на его предложение прыгать. Как будто он и сам не понял, что только что сказал или, может быть, пошутил неудачно. До этого почти час вертолет трясло так, будто они ехали в грузовике по весенней деревенской дороге, когда после недели дождей солнце за два дня высушивает всю грязь, превращая путь в каменные насыпи. Сиденья в вертолете были железные, отчего с каждым ударом казалось, что твой позвоночник проседает. Хорошо, что снаружи была полная темнота: наверное, если б они видели, как пляшут в окошке пейзажи от того, что их вертушку швыряет словно кленовый лист, страх присмирил бы их. Пилоты матерились отборно

и громко, пытаюсь перекричать гул лопастей. Всем было очевидно, что места для посадки не разглядеть: ни огонька, ни намек на жизнь, разрушено было все. Потому и на вопрос, кто готов прыгнуть, все согласились, не раздумывая, хотя ни один не представлял даже, на какой высоте они находятся.

Юра улыбнулся, почувствовав снова тот прилив юношеской бравады с привкусом страха и ощущением сопричастности к чему-то большому, значимому — все то, что сопровождало его до первого найденного трупа. Да, наверное, лучше бы было разбиться там, в ночном перелете, как будто героем, чем вот здесь медленно заледенеть под завалом среди тысяч таких же навсегда замерзших в руинах города. Но и так тоже пойдет. В конце концов, он постарался сделать в своей жизни хоть что-то стоящее и ценное. Много, наверное, пересмотрел бы, если б дали шанс, да ну что теперь.

Юра закрыл глаза и с улыбкой начал представлять, как могла бы сложиться его жизнь... Он прокручивал самые прекрасные варианты из своих мечтаний: становился великим пианистом, которым гордилась мама, растил в деревне десяток детей, смотрел, как старшего награждают на плацу в Суворовском училище...

Юра проснулся, услышав ее шорох. Платье шелестело совсем рядом. И пахло от нее чем-то невыразимо свежим. Наверное, прошла уже ночь. Пальцы рук начали совсем замерзать, еле двигались.

— Я вспомнил!

Она вопросительно посмотрела на него, но уже без злобы.

— Последние слова мои перед отъездом вспомнил. Я ей от посольства из таксофона звонил. Сказал, что уезжаю в командировку. Чтобы деньги брала из отложенных, должно хватить. И чтобы младшего, если будет тяжело, матери отвезла моей. Так что, получается, другое пожелание-то. — Он слегка улыбнулся, хоть и ожидал от нее очередного злобного взгляда.

В его положении бояться взгляда женщины, пусть и мистической, все равно было бы смешно. Теперь хотелось смотреть во все глаза, пока есть время. Хотя бы смотреть на эту странную красоту. В ответ она лишь слегка усмехнулась.

— Ну если так, то ты еще и отсюда ей передать велел, что ты в Армении. Помнишь?

— А что, дозвонился ей что ли тот парень? Ну хорошо, хоть будет знать, спокойнее. Я-то не знал, что здесь связи не будет вообще, так бы еще в Москве сказал, куда еду. Теперь и правда спокойнее, раз дозвонились ей. А то еще навывдумывает, почему я пропал, где таскаюсь, накрутит себя, а на старшем всю злость выместит. Она ведь за все наши ссоры на нем срывалась, я же понимаю. Теперь вот успокоится, может.

Женщина смотрела как будто сквозь него. Точно, как колдунья или ведьма. Только вроде не злая уже.

— Отпущу я тебя. Останешься жив. Но будет тебе рана на всю жизнь такая, чтобы не забыл. Не снаружи, внутри будет ныть да выкручивать. И чем дальше ты будешь вязнуть в своем бездействии и безразличии, тем сильнее она будет мучить. Жить будешь столько, сколько будешь кому-то нужен.

— А ты, тебя как зовут-то? Ты кто? — в голове мелькали армянские имена. — Нанэ? — почему-то прозвучало отчетливее других.

— Для тебя сейчас, может, и Нанэ. — Она даже как будто улыбнулась, а потом снова сдвинула брови. — И еще. Не быть тебе здесь больше героем. Работать будешь, до смерти уставать, но живых больше не жди — не найдешь. И благодарности не увидишь. Уезжай, когда поймешь, что все сделал, связи с этим местом не ищи, все останется с тобой.

Юра услышал голоса где-то совсем рядом и крикнул в ответ, что было сил. Его голос оказался совсем сиплым. Ребята вытащили его за несколько минут. Повезло: он оказался в нише арки, а руку придавило шкафом; второй такой же шкаф завалил

подступы, перегораживая свет снаружи, но как только его разломали, то вытащить Юру оказалось пустяком. Его отнесли в госпиталь, но врач практически сразу сказал, что может отпустить счастливого. Ребята смеялись его везучести, пытались растормошить растерянного друга. Все, что произошло там, внутри, казалось теперь просто его бредом. Бредом замерзающего отчаявшегося человека, заблокированного в темноте.

Рассказывать кому-то про Снежную королеву, как он ее про себя называл, было бы глупо, а оставаться с этими мыслями наедине ему казалось опасным — вдруг совсем свихнуться можно. Отоспавшись на детских кроватях, Юра вернулся к работе уже на следующее утро.

В то утро Юра, а потом постепенно и все ребята в бригаде начали замечать, что город замолчал: перестал рыдать, подвывать, кричать в небеса, бубнить молитвы возле развалин, громко тянуть спасателей за рукава «поскорее расчистить вот это место, там точно кто-то звал». Повисшая тишина не казалась ни зловещей, ни пугающей, ни предвещающей что-то страшное. Она была пустой, ровной, даже вакуумной. Будто пролетела ведьма из сказки, махнула над городом плащом да забрала у людей чувства. Только вот какого-нибудь героя-спасителя, который вернул бы жителям эмоции, вовсе было не надо. Радости в этом месте еще долго не будет, а страха и отчаяния и так хватило. Уж лучше без чувств.

Сначала замолчали выжившие местные (стонов раненых уже не слышали несколько дней, неоткуда им было бы взяться после декабрьских ночей под завалами). Потом, как будто эхом за ними, начали умолкать и все, кто приехал помогать, — по инерции, словно и нельзя было эту тишину нарушить. Юре казалось, что теперь стало легче: выдерживать все эти крики и чужую боль ему сейчас было бы невыносимо.

В повисшей тишине работа пошла конвейерная, как на заводе. Добровольцы и местные военные механически разгребали

все, что могли, местные ковырялись на развалинах, пытались выудить хоть что-то. Теперь, спустя неделю, люди начали понимать, что нужно двигаться дальше, как-то заботиться о себе, просто начать выживать: добыть одеял и теплой одежды, попытаться откопать хоть какое-то имущество, чтобы потом продать и купить еды, достать любые кусочки, клочки той прошлой жизни — помятую фотографию, настенные часы с повисшей вывалившейся кукушкой, цветной шерстяной платок или отбитую фарфоровую статуэтку пастушки — чтобы хотя бы глядя на те осколки вспоминать, согреваться, находить силы жить.

Ближе к шести вечера все собирались и замирали: смотрели на вереницы деревянных, наскоро заколоченных гробов, загружаемых в грузовики. Юра с ребятами прошлой ночью видели, как эти гробы привезли после выгрузки обратно пустыми, со следами вытащенных из крышек гвоздей. Возможно, и местные это заметили, но никто не задавал вопросов. Видимо, с гробами тоже были перебои.

Как и предсказала в видении Снежная королева, выживших Юриной бригаде больше не попадалось. Доносились слухи, что кому-то везло: вроде как вытащили полуживого мужчину. Всем хотелось верить, но умом было ясно, что их работа превратилась просто в разбор завалов.

Просьбы местных поменялись и теперь раздражали. Пожилая армянка возле одного из завалов все упрашивала их бригаду спустить сверху ее пианино. У того дома, как кусок торта, обвалилась сбоку примерно треть, обнажив срез нескольких квартир. С четвертого этажа нависало то самое пианино. Черное, лакированное, пугающе целое на фоне этого дикого пейзажа руин. Армянка не выглядела обезумевшей от горя и оттого Юре становилось совсем тошно: она все причитала и упрашивала, даже несколько раз уточняя, можно ли это сделать за деньги.

Юра услышал, как Виталик, злобно ругнувшись, сплюнул. Кто-то из ребят демонстративно ушел копать в другой конец дома. А Юра вспомнил слова своей гостьи про благодарность. Ухмыльнулся только, как быстро все может поменяться. Еще за пару дней до того, как его завалило, он отдал свою пару перчаток приехавшему из Еревана к родному дому пареньку. Дом был смят полностью, парень голыми руками пытался потихоньку разбирать завалы, чтобы найти тела своих. Когда Юра молча протянул ему перчатки, тот так искренне начал благодарить, что даже и неудобно стало. Просто перчатки, их к тому моменту раздали всем спасателям по несколько пар на день. Перчатки, чтобы парень мог просто найти, что захоронить... А теперь вот пианино.

Через неделю в город начала приезжать мощная техника: огромные краны оттаскивали плиты, экскаваторные ковши загребали целые кучи смеси бетона и всего того, что раньше было чьим-то бытом: осколки кафельной плитки, цветастый халат, детский ботинок, уцелевший плафон, электрическая бритва... Город начали вычищать. Для группы Юры и десятка таких же работы оставалось все меньше. Где-то смогли восстановить дороги, и теперь целыми взводами привозили солдат и профессиональных строителей. Это были серьезные, хорошо экипированные люди, организованные в группы с руководителями, четкими целями, ежедневными отчетами. Все стало по-другому. Юра приезжал в объятый хаосом город, в котором никто ничего не понимал, бросались к любым точкам, где была хоть какая-то надежда; никакого плана, никакой скоординированности, просто делай, что можешь, раз прилетел. Делай, сколько можешь, пока не упадешь от усталости, чтобы, поспав пару часов, снова вернуться к делу. Теперь же здесь развернулись люди с указаниями, планами, структурой.

Их бригаду направили откапывать руины на месте разрушения ювелирного магазина, пояснив, что это государственно

значимый объект и очень важно достать все, что можно. Юра монотонно собирал и записывал все, что приносили его ребята, невольно испытывая тоску и раздражение: как быстро его путь скатился от роли спасателя до какого-то казначея. Никто ничего и не думал воровать, но ребята приуныли: они летели сюда не за таким трудом. Юра старался не возвращаться к своему видению, но отголоски фраз так и звучали ледяным ее голосом: «Не быть тебе здесь больше героем...»

Юра уточнил у одного из лейтенантов сегодняшнюю дату. Оказалось, он просчитался на день: уже было двадцать шестое декабря. Надо было домой. Мишка, наверное, извелся. Юра вжал голову, поймав себя на том, что впервые за долгое время назвал сына по имени — обычно в мыслях, да и в разговорах с кем-то он называл его просто «старший». И как-то так непривычно стало, не то больно, не то тепло. Да и с чего вдруг он понадеялся, что Мишка по нему скучает. Пожалуй, это его, Юрина тоска по сыну вдруг дала о себе знать.

Он поговорил с ребятами, почти все решили возвращаться домой. Никто, конечно, не рассчитывал на быструю отpravку — не до них сейчас, но и задерживаться здесь уже казалось бессмысленным. Однако военное начальство уже к вечеру сообщило, что завтра утром всех желающих из отряда Юры довезут до Еревана и посадят в самолет на Москву.

Билеты им выдали на обычный гражданский вечерний рейс. В аэропорту в основном прохаживались люди в хороших пальто, с кожаными портфелями и чистыми чемоданчиками — в Москву кто попало не летел.

Юра с ребятами стояли поодаль, пока не объявили посадку. Только здесь он начал ощущать, что от их группы ужасно пахнет потом, непромытой, ночной сыростью. Большинство добровольцев, как и он, полетели из Москвы в чем были. Да даже те, кто прихватил рюкзак со сменной одеждой, все равно за эти дни все сносили, а стирка была неуместной. Они стояли

в казенных протертых комбинезонах, оставленных им как непригодные для дальнейшего использования. В одной руке Юра держал пакет с меховой шапкой и пальто, в котором сидел в московский автобус до аэропорта, как будто целый год назад. Надевать пальто на комбинезон казалось кощунством. Во второй руке он, как и все, держал оранжевую каску с фонариком, прихваченную на память. Как странно теперь возвращаться в жизнь этого московского пальто: сесть в такси, проехаться по вечерним улицам, с потоками торопящихся людей, высокими кирпичными зданиями, светящимися окнами, детской беззаботной болтовней по пути со второй школьной смены.

Впопыхах утренних прощаний, скупых слов и последних взглядов на руины города никто из его бригады и не подумал запастись едой в дорогу. Последнюю неделю полевая кухня работала отлично, с каждым днем им привозили все новые и новые пайки, добавляя к изначальной гречке тушенку, другие консервы и даже овощи. Наверное, по инерции ребята предположили, что и здесь накормят. До шестичасового вылета было еще четыре часа, а они не ели со вчерашнего вечера. Конечно, первые дни работы они провели без пищи почти трое суток, но теперь это казалось таким далеким. Да и там, на развалах, когда каждый час время утекает и надеешься еще кого-то спасти, там о еде не думалось так остро. А сейчас, в этом как будто промежуточном отсеке, где они застряли на несколько часов в бездействии, хотелось себя занять чем угодно: поесть, почитать, покурить, лишь бы не проваливаться в это ощущение тоски и резко накатившей ненужности.

Витька выудил из рюкзака банку сайры: «Осталась с позавчерашнего ужина!» — просиял он. У кого-то раздобыли консервный нож. Банка была одна на всех: ели по кругу, стараясь выглядеть поприличней. Там, у костров, им было бы все равно, как они выглядят, — они чувствовали себя героями, спасателями,

мужиками. Здесь, среди ухоженной вычищенной публики со свежими газетами и книгами в руках, им почему-то становилось неловко.

Юра заметил на себе взгляды группки армян и отвернулся. «Мы же твоих земляков вытаскивали, чего смотришь? Сам бы полез!» — огрызнулся он про себя. Консервы доели, а в животе только разыгралась буря. Они сидели в стороне от сидений зала ожидания, опершись о стену, как будто какие-то слесари или строители. Чуть позже он заметил, что к ним направляются двое из той смотревшей компании. В голове мелькнуло притвориться спящим, чтобы никто не цеплялся.

— Простите... Вот, возьмите! — услышал он где-то сверху с классическим армянским акцентом. Подняв глаза, Юра увидел протянутый ему бутерброд. Еще два таких же второй армянин протягивал Витьке и Сане. — Это все, что у нас с собой есть из еды. Вы оттуда, да?

— Оттуда. Спасибо. — Ребята взяли бутерброды и начали делить с остальными.

Армяне, смущаясь, отошли. Всем было неловко в эти пару мгновений, и Юра был рад, что подошедшие не решились задавать вопросов или благодарить. Еще через полчаса к ним приблизилась зрелая пара: мужчина в пальто с меховой оторочкой и его дама, с немного фиолетовыми волосами и пахнувшая какими-то импортными духами. Они протянули завернутый в бумагу большой сверток: «Возьмите, дорогие, кушайте! Спасибо вам!» От этих слов все засмутились. Юра почувствовал, что к горлу ком подступает, и сделал вид, что закашлялся. Поспешно отвернулся, нарочито кашляя в рукав, оставив ребят самих разбираться с дарителями. Когда пара отошла, Витька развернул сверток — запахло домашним тестом и мясом. Большой пирог явно предназначался для торжества: румяная корочка была украшена цветами из теста. Такой пирог Юре пекла мама на свадьбу. Жена печь не умела. Угощение

разлетелось за несколько минут, обнажив расписное восточными узорами блюдо.

От этого пирога так захотелось домой. Юра попробовал сформулировать что-то конкретнее, представить квартиру или ванну, домашние тапки, запах с кухни, чистые простыни... Ничего не цепляло. Как будто просто домой — такое большое и общее. Не к Ольге или детям, не к матери в поселок, но просто к себе.

Уже в самолете ближе к Москве они разодрали чью-то тетрадку на листочки, чтобы оставить друг другу телефоны, по которым, конечно же, Юра никогда не позвонит. Ребята менялись на глазах: лица становились напряженнее, паузы в разговорах длиннее, движения более неловкими. Исчезла та юношеская резкость, легкость, импульсивность. Каждый это подмечал и не хотел подмечать одновременно. Они прожили три недели отрезанными от мира. С каждым из них так много произошло, сколько мыслей, страхов, воспоминаний... Казалось бы, это должно было поменять мир вокруг. Но вот сейчас самолет приземлится, они, быть может, еще группой пройдут через здание аэропорта. Вероятно, кто-то вместе доедет на автобусе до метро, а там уже вдвоем-втроем проедут несколько станций, но все это будет сопровождаться все более нарастающим неловким молчанием — в этом московском мире их так мало объединяет... Лучше уж сразу уйти ото всех.

Юра часто ходил в горы, и почти каждый год до рождения младшего они с Олей сплавлялись в Карелии, да и просто в профсоюзе иногда давали путевки на двухдневные экскурсии. Из всех этих путешествий они забирали с собой не только воспоминания, но и новые знакомства, которые нередко перерастали в крепкую дружбу семьями. В эту поездку было совсем не так.

Он мельком поглядывал на ребят, впервые подмечая какие-то детали их внешности, мимики, речи. Витька, оказывается, был

комически лопух, а Санек картавил. Их объединили не песни у костра и красивые закаты, не совместная палатка или общая фотография со счастливыми улыбками. Их объединило то, о чем Юра не захочет рассказать ни сыновьям, ни Ольге. Таким не делаются. Он, не отслуживший в армии, но получивший звание лейтенанта запаса после окончания военной кафедры, в своих юношеских снах мечтал когда-нибудь быть отправленным в пекло военных действий. А потом вернуться домой спустя пару месяцев с таким взглядом, который видел только в наших фильмах, чтобы жена, не задавая вопросов, лишь молча ставила бы еду на кухне и оставляла его одного, а он ночами, подолгу не засыпая в душной постели, выходил бы курить на балкон, часами всматриваясь в темное небо.

Правда ли это, что потом такие вот сослуживцы, прошедшие страшные моменты, ценят каждую возможность встречи, подолгу шумно обсуждая с постаревшими друзьями все пройденное? Или же они просто пьют, объединенные каким-то общим понятным всем молчанием. В любом случае, Юре казалось, что он так не сможет. Может быть, с ним что-то не так, но дальше ему хочется остаться с этим одному.

Он добрался до своего дома уже к ночи, еще с улицы заметив в окне спальни голубое свечение телевизора (вечное его ворчание, что она не задергивает занавески). Открыв дверь заедающим ключом, услышал, как жена в комнате торопливо начала надевать тапочки, по привычке сброшенные на пол, когда она поджимала под себя ноги. Он только успел ей крикнуть, чтобы обождала: он с таксистом, сначала расплатится. Юра прошел на кухню и достал из их семейной банки деньги, втянул воздух дома, разочарованно не уловив запаха съестного: с чего бы, он и не предупреждал о приезде, но все же стало еще грустнее.

Таксист был отпущен, дверь заперта, и Юра остался в этой тишине прихожей.

— Спитак? — жена, замершая в проеме полуоткрытой двери гостиной, разглядывала его с тревожным прищуром.

— Ленинакан.

И вот они стояли, точь-в-точь как в тех самых военных фильмах, выдерживая паузу в сцене возвращения героя домой. И она по классике жанра, конечно же, ничего не спросила, прошла на кухню и начала что-то вытаскивать из холодильника. Только сейчас вместо гордости его накрыло острое разочарование — какие же дурацкие это были мечты! Как хотелось, как нужно ему сейчас было, чтобы их сцена стала совсем другой, чтобы она нашла что сказать, что-то очень важное и родное, чтобы спрашивала, и плакала, и говорила снова. И это был бы самый сильный, самый близкий их разговор за последние годы.

В середине января его забрали в больницу с подозрением на аппендицит. 1989-й начинался безрадостно. Боль, истощавшая Юру уже несколько дней, постепенно стала совсем нестерпимой. Когда к ней добавилась рвота, Ольга вызвала неотложку. В больнице его продержали почти две недели, наконец поставив диагноз «язва желудка».

Врачи неодобрительно ворчали, мол, как он мог себя запустить в таком молодом возрасте, с недоверием слушая его ответы про отсутствие вредных привычек и абсолютно безалкогольный Новый год. Производство не вредное, работа в конструкторском бюро не стрессовая, жена готовит. Юра после их обходов подолгу лежал, укрывшись с головой казенным, пахнущим кладовкой одеялом, с ухмылкой вспоминая Снежную королеву. Его койка стояла в углу возле окна. Если поднять руку чуть выше изголовья, то можно было почувствовать сквозняк, выходящий с подоконника, а снизу он дотягивался ногами до горячей батареи. Ему нравилось чувствовать себя всемогущим: самому «регулировать» холод или тепло. Как когда-то ребенком сам придумывал себе препятствия, а потом сам же в фантазиях с легкостью справлялся с ними.

Знакомые в один голос охали, что, конечно же, в Армении Юра и посадил здоровье, насмотревшись на такое. Сам он не гадал, где она — правда. Теперь он часто вспоминал в деталях те несколько часов, которые провел под завалом, вновь и вновь убеждая себя, что она обещала, что жить он будет долго, хоть и с болью.

К марту напряжение в отношениях с Ольгой снова усилилось. Он уже предчувствовал, как хлынет из нее поток подавленного и припрятанного за время Мишкиных зимних каникул и затянувшихся скитаний по докторам. Ольга долго держалась: страх за мужа, которому врачи прогнозировали ухудшение болезни, на время выдавил все остальные эмоции. Она находила через знакомых каких-то особо одаренных профессоров, выписывавших вонючие настойки и кисели, она готовила ему пресную, без капли жира, пищу, от которой воротило больше, чем от больницы. Она действительно старалась сдерживать свои вспышки гнева, чаще уходя вечерами читать в комнату. Но когда она демонстративно поджимала губы и, удерживаясь от очередной едкой реплики, молча отворачивалась, ему становилось тошно настолько, что хотелось уйти.

Когда в один из вечеров Ольга начала орать на Мишку за чернильное пятно на рубашке и схватилась за ремень, Юра вошел в детскую и очень спокойно сказал: «Миша, иди накинь куртку, надо поговорить». Жена замерла с гримасой гнева и отворачивания. Вглядываясь в ее лицо, Юра понял, что ничего у них дальше не будет. Просто нечему больше быть. Она как будто услышала его мысли, подернула плечами, швырнула ремень в угол и ушла в спальню.

Юра брел с сыном по унылым улицам. Март в этом году ужасно не шел Москве, и она, словно женщина, стесняющаяся своих заштопанных колготок, вся будто робко ежилась, глаз не поднимала, старалась стать незаметнее. Грязные подтаявшие сугробы, еще более унылые в тусклом свете редких фонарей,

пахли несвежестью, расплзались по асфальту хлюпающими лужами.

Юра взглянул на сына: Мишка шел, засунув руки в карман заношенной куртки, как будто приплясывая, перекатывался с пятки на носок. Почувствовав взгляд, Мишка поднял на Юру глаза и робко улыбнулся. И таким он нормальным показался в этот момент, таким обычным мальчишкой! Никаким не плаксою, не размазней. У Юры защемило от ощущения вины: как мало надо было пацану, чтобы улыбнуться — всего лишь защиты. Юра не сразу нашелся, как коснуться сына: обнять — слишком сентиментально, за руку взять — вроде уже не маленький. Юра неловко потрепал сына по макушке и притянул за плечо к себе. Мишка снова удивленно поднял глаза.

Так они и бродили молча часа два по их невзрачному району, пока совсем не стемнело. На подходе к дому Мишка снова погрузнел.

— Пап, а я вот хотел сказать. Я вот знаю, что Дед Мороза нет.

— Хм, деловой. А чего ж подыгрывал? Может, тебе уже на следующий год и подарок не дарить?

Мишка улыбнулся и махнул рукой.

— Подожди, пап, вот послушай. Про Деда Мороза все понятно. Это так придумали для детей, чтобы радовать там и подарки дарить. А вот ты как думаешь, все остальные мифы и легенды — всего этого тоже никогда не бывало? И сказки тоже все совсем придуманные или, может, что-то очень-очень давно могло быть такое, похожее?

— Вообще, советскому человеку, Мишка, особенно мужчине, о всяком волшебстве, магии, сказках и прочих придумках думать и разговаривать не положено. — Юра краем глаза заметил, как сын снова начал втягивать шею и опустил подбородок в воротник куртки. — Но, скажу тебе по секрету, я вот не уверен, что чудесного совсем нет. Или, может, оно не чудесное, а просто странное, пока необъяснимое. Не все пока человек изучил,

не все понимает. Потому и не знаю точно, где она правда, где вымысел, а где, может, сон.

— А знаешь, пап, мне такой сон снился, когда ты уехал, что как будто я кого-то очень сильно попросил, чтобы ты вернулся. Не помню уже, кто там был. Но вот я так грустил, и мама злилась много, и кричала на меня много. И я прямо так сильно просил! А ты потом раз — и через несколько дней приехал! И я подумал, ведь может, это потому, что я попросил?

Юра посмотрел на Мишку:

— Да? Ну спасибо тебе, что попросил. Наверняка помогло. А кого просил-то? Если не Дед Мороза, то, может, Снежную королеву?

Мишка посмотрел удивленно, не понимая, смеется над ним папа или как.

— Да ну пап, я ж знаю, что это сказки. — Мишка начал ковырять какую-то болячку на пальце. — Просто кого-то попросил.

На выходных Юра отвез Мишку в поселок к матери. Поначалу договорились с Ольгой, что это временная мера, но в душе Юра знал, что до конца учебного года сына лучше домой не возвращать. Мишка любил бабушку какой-то немальчишеской ласковой любовью столь искренне, что и сама она начала отвечать ему удивительной нежностью, даже стесняясь при сыне своих чувств к внуку. Совсем по-другому она воспитывала Юру, своего единственного сына.

Пристроив Мишку, Юра съехал к другу в общежитие. А потом был на удивление спокойный развод: Юра оставлял жене квартиру и обещал взять больше заботы о детях. Мишку решили оставить у бабушки на лето, пока младший не пойдет в детский сад. Юра навещал сына у матери по выходным, а к осени снял комнату поближе к работе и перевез Мишку к себе. Жена как будто и не удивилась.

Жизнь потекла своим чередом. По субботам Юра привозил Мишку к Ольге, а в воскресенье брал обоих сыновей к себе.

Ольга хоть поначалу пыталась задевать его при каждом появлении, но Юра научился играть в уставшего и больного, не реагировал на ее слова, как будто не имея сил. И Ольга постепенно успокоилась, затихла.

Ночами Юре часто снилось, что его заваливает и снова приходит его Снежная королева. Смотрит одобрительно и молчит.

КОЗЫ — ПРОВОКАТОРЫ

— Кто не поедет сегодня на рафтах? Если есть такие, мы вам заменим сплав на экскурсию в Ботанический сад или ферму маралов.

— Есть. Давайте на ферму маралов.

Девушки на сиденьях сбоку посмотрели на него с сожаляющей улыбкой. Он улыбнулся в ответ, хотя их жалость раздражала. В вашем возрасте я этих сплавов намотал, сколько тут сидящим и не снилось, и не по Катуне детской, а вон — по Чуе! Это вам не покатушки, а пороги шестого уровня! Да что уж тут — каждому объяснять не будешь. Нет настроения мерзнуть. С утра дождь, на воде в два раза холоднее. Мне ведь не сплав страшен, мне застудиться не хочется, а коли сел на весла, то мокрым плыть придется все три часа.

К его сожалению, никто не спрашивал о причинах отказа, потому и разговориться было не с кем. Он утешал себя мыслью, что и не с ними общаться приехал, а вообще-то, к другу. Пять лет не приезжал, а тут карантин подкинул возможность. Однако экскурсовод продолжал монотонно бубнить: «Маршрут не из легких, так что мы с пониманием относимся к желаниям туристов отказаться и бесплатно заменим на другую, более щадящую экскурсию». Такого сочувствия он уже не готов был терпеть.

— А на конную прогулку можно заменить? У вас же тут недалеко водят горными тропами на конях? Подворье у Степана, кажется, или Сергея.

Девушки снова уставились с интересом, он чувствовал их взгляд боковым зрением и внутренне ликовал.

— Конную можно организовать, но завтра. Да, тут недалеко конюшня, есть попроще маршруты по полю покататься, есть для продвинутых через лес в горы. Записать вас?

— Да, пожалуйста. Меня на горный маршрут для опытных.

Еще несколько человек из микроавтобуса повернулись с любопытством в его сторону и начали спрашивать экскурсовода об уровне сложности конного перехода.

То-то же. Вот там и посмотрим, кто из нас на что еще способен. Сегодня передохнем, завтра с ветерком на коне, а послезавтра к Витьке. Один денек он и подождет, уж не обидится.

С Витькой они познакомились на заводе, сразу после института. Считай, всю жизнь вместе. Когда Миша окончил Саратовский институт, ему предложили по распределению какие-то крохотные городишки в разных уголках Союза. Самой привлекательной оказалась Истра — максимальная близость к столице и относительно недалняя дорога домой. Ночь на поезде, и ты на месте. Миша фантазировал о перспективах, о волшебной молодежной жизни в Москве и об аспирантуре.

Отец всегда подтрунивал над специальностью сына, подтрунивал гадко, как умеют только властные отцы, лишний раз не упуская момента обесценить любые заслуги сына, начиная с детской поделки, заканчивая «бестолковой» научной статьей. Отец указывал на абсолютное большинство девчонок на их экономическом факультете и смеялся, что на заводе сын будет чувствовать себя девицей. А Мише в принципе не интересны были ни заводы, ни мужики, ни рабочие планы и нормы труда, которые ему предстояло высчитывать. Ему хотелось отрастить волосы после окончания военной кафедры, носить свои с трудом добытые джинсы клеш, слушать западную музыку, узнавать мир, да и вообще смотреть шире, дальше, как минимум дальше родного Саратова. Потому аспирантура казалась слабой надеждой на то, чтобы вырваться за пределы классического карьерного тупика советского инженера-экономиста.

В длиннющей очереди в отдел кадров на заводе, когда все только прибыли и ждали направления в общежитие, Миша и увидел Витьку. Каждый год на завод приезжало около семисот человек со всего Союза, но во всей этой толпе они подружились именно с Витькой: какой-то легкостью, надеждой и уверенностью веяло от того.

Когда подошел их черед, зайдя в мрачноватый пыльный кабинет с кучей папок на всех возможных местах, они попросились жить вместе, на что женщина в кружевной блузке и большом золотом перстне с каким-то сочувствующим вздохом протянула: «Это уж как договоритесь с остальными, мальчики».

Общежитием оказался выделенный подъезд многоквартирного дома. Увидев его на подходе, оба весело присвистнули: это ж тебе не по двадцать человек в комнате с двумя сортирами на этаже, как запугивали, это ж полноценные квартиры! Миша с шести лет жил с родителями в отдельной двушке с ванной, холодильником и телевизором. Мать очень переживала, когда он решил отказаться от возможности остаться в Саратове, боялась, что непривычный быт если не сломит сына, то уж точно подорвет его здоровье.

А Витька и вовсе был счастлив впервые пожить в квартире. Витька вырос в детском доме. Обычно детдомовские с трудом дотягивали восемь-девять классов, потом их всем потоком спихивали в училище на маляров или токарей и дальше — в армию. Витька оказался одаренным в математике и физике, и его додержали в детдоме до 10-го класса, чтобы он мог попасть в институт или чтобы детдом мог с гордостью выставлять у себя все Витькины грамоты за олимпиады, получая благодарности свыше за воспитание «целой плеяды будущих ученых». Правда, за двадцать лет Витька был единственным представителем «плеяды», окончившим все десять классов. На школьный выпускной директор даже одолжила ему костюм своего племянника, а отправляя в Куйбышев на вступительные экзамены, его снабдили

внеочередной парой нижнего белья и носков (предупредив, правда, что больше ему от детдома ничего не светит, так что в случае провала пусть не возвращается). Витька не провалился, а выучился на инженера и тоже решил рвануть поближе к Москве, по распределению угодив в Истру.

В общем, оба парня были счастливы, стоя со своими тюками у подъезда свежей блочной девятиэтажки. Вот она — свобода! Никаких тебе комендантов и отбоев, никаких родителей, отслеживающих твое прибытие не позже одиннадцати. Они теперь взрослые дипломированные инженеры, которые будут получать законную зарплату и тратить ее на свое усмотрение. Они бурно обсуждали планы на ближайшие три года: ровно столько у каждого из них было, чтобы отдать долг Родине, отработав положенное по распределению и перебраться (в их светлых мечтах о пользе стране) в столицу, в идеале в собственную комнату или даже квартиру к красавице и умнице москвичке-жене, которая где-то уже ждала своего перспективного принца-провинциала.

Они поднялись на пятый этаж, было уже около восьми вечера. На лестничный пролет выходили две одинаковые незакрытые двери с оборванными звонками. Направо была их: оттуда слышался мужской смех и звон стаканов. Заглянув внутрь, они наткнулись на мужика, неуверенно пробиравшегося, как будто и не видя их, по коридору. У дальней двери он хмуро обернулся и ввалился в ванную. С кухни их окликнули и позвали за стол.

В трешке уже жили пятеро мужиков, все — рабочие с завода. Мишке сказали, что он будет спать третьим в самой большой комнате, куда влезала раскладушка, а Витька, как курящий, вторым в той комнате, где живет один Саньч (тот самый, который исчез в недрах ванной, когда ребята пришли). Остальные тоже были курящими, и ребята не сразу поняли логику подданных соседей насчет размещения, но, не сговариваясь, решили

пока не спорить, а вместе поужинать и познакомиться. Мишка достал привезенную из дома колбасу, встреченную одобрительными панибратскими возгласами, им налили в замызганные стаканы теплого пива, и знакомство состоялось.

Спустя пару часов душного застолья, Витька завел речь о возможности им с Мишкой жить в одной комнате, а Саныча переселить третьим на раскладушку. Миша даже неловко как-то пытался предложить «договориться» с первой полочки. Мужики хмуро заржали.

Наутро после первой ночи на новом месте Миша вошел на кухню и чуть не задохнулся от тошнотворного запаха. Вонь шла из-под стола: вечером он не заметил, что импровизированной мусоркой служила коробка из-под телевизора, стоящая в ногах, куда скидывались все очистки и вообще кажется все, что угодно. Он, набрав воздуха, побежал с коробкой на улицу к мусорным контейнерам. Однако по возвращении встретил хмурый взгляд соседа: «Ты тут порядки свои не наводи. Спрашивать сначала надо». Миша не понял, что случилось, начал оправдываться, на что мужик только рывкнул: «Ты на хрена коробку выкинул, я ее только два дня как поставил! Где их набрать — коробок стоко, чтобы всякие пижоны выкидывали! Пока доверху не будет — шоб не трогал».

Миша пил чай, глядя на унылый пыльный пейзаж из окна, когда на кухню вошел еще более унылый Витька, усвоивший этой ночью, что Саныч — это вовсе не отчество, а очень четко характеризующее прозвище, и спать в одной комнате с бедолагой точно никто не согласится.

Спустя несколько дней ребята поняли, что нужно искать варианты с другим жильем. Миша рассказал Витьке про аспирантуру, пытаясь сагитировать и его, но Витька рассмеялся утопическим фантазиям друга, да и к тому же в этом году все равно экзамены было не сдать, а перспектива прожить несколько месяцев в их «квартире» удручала.

Миша привык по утрам умываться и бриться по двадцать минут в своей ванной, неспешно идти на кухню, где мама выставляла теплый завтрак и они могли спокойно о чем-то поговорить. За пять лет института он так свыкся с тезисом матери «твоя задача лишь в том, чтобы отлично учиться и не попадать в переделки», что сейчас ощущал себя первоклассником, потерявшимся на линейке. Витьке было проще, но и он с тоской вспоминал суровые правила чистоплотности в общежитии, четкий график уборки и очередности в душевые.

Несколько недель их выходные проходили по одному и тому же сценарию: поднявшись пораньше, они выезжали по адресам, которые успевали насобирать за неделю у всех, кто мог посоветовать хоть самого отдаленного знакомого. Они искали съемное жилье любого формата: комната в деревенском доме, в квартире, в общежитии для молодежи, да где угодно. Пока объезжали известные им адреса, подпольные арендаторы делились с ними дополнительными контактами своих несознательных знакомых, сдающих угол.

Удача настигла их лишь в октябре, когда Мише казалось, что не только вещи, но и сам он уже пропах этим невыносимым душком квартиры так, что даже и на свидание пойти не решился бы, пока не съедет. Подслеповатая бабулька Ефросинья Гавриловна (зовите меня просто баб Фрося) готова была сдать веранду, через которую даже вел отдельный ход, в небольшом, но аккуратном домике с ажурными скатертями на подоконниках и тюлевыми занавесками.

Веранда вмещала в себя кровать и два сундука, которые старушка обещалась освободить для «мальчиков». Места оставалось как минимум еще для раскладушки и стола. Миша щурился от яркого солнечного света, пронизывающего веранду сквозь десятки стекол, и наслаждался ощущением чего-то детского, напоминающего не то пионерлагерь, не то детсадовские дачи. Старушка качала головой и охала, ругаясь на обилие

стекло, и говорила, что сдать жилье может всего на пару месяцев, потому что зимой «задрогнуть тута можно». Миша с Витькой решили, что после алкогольной квартиры их уже ничем не проймешь, и договорились добывать и оплачивать дрова для кухонной печи, тепло которой прекрасно расплывалось и по их территории. Целых полтора месяца. С конца ноября они просыпались под влажными от конденсата одеялами. В декабре пришлось закупить еще больше дров, старушка не жаловалась, хотя в ее части дома бывало натоплено, как в бане, но с каждой неделей ребята мерзли все больше.

В январе Миша привез из Саратова обогреватель, который мать урвала в каких-то очередях. Переть его с вокзала было тем еще испытанием, но ситуацию он существенно выправлял, хоть и нещадно вонял, и увеличил их плату за электричество. Баба Фрося ребят полюбила: компаний в дом не водили, да еще и топили так щедро, что старые ее кости как будто снова окрепли, забыв о болях и ломоте. Иногда она предлагала им что-то приготовить, брала меньше, чем в заводской столовой, а иногда и угощала просто так, когда пекла пирожки или блины.

Витька не жаловался. По утрам он вскакивал первым, ставил на электроплитку ведро с водой, и в ожидании кипятка активно прыгал и отжимался. Миша не высовывался из-под одеяла до последнего, пока от ведра не поднимался клубами пар, хоть чуть-чуть согревавший веранду и обещавший несколько минут бритья с теплой водой.

На всю жизнь первая подмосковная зима отбила у Миши ту чистую и счастливую детскую любовь к снегу, морозным утрам, хрустящим сугробам и заиндевевшим окнам. Долгие годы потом ему казалось, что он все не может отогреться: он запрещал жене проветривать зимой, поднимал края штор, подтыкая ими рамы, чтобы тепло не уходило, сам лично заклеивал окна, а в девятых первым из всех их знакомых поставил стеклопакеты, гордясь ими больше, чем первым ноутбуком. Жена ворчала, что он, как

южный человек, просто избалован теплом и капризничает, но Миша был непреклонен и в любых своих поездках, что в молодости, что уже потом с детьми, в первую очередь заботился о тепле.

Вот и сейчас он ежился в автобусе, представляя, как противно в такую погоду сидеть в мокром гидрокостюме на носу рафта, активно шевеля веслами не столько для продвижения по и без того бурной реке, сколько для согревания. Ладно б в июле, а тут сентябрь, да еще промозглый какой.

Экскурсовод набалтывал очередные версии алтайских легенд про главные реки Чую и Катунь, про пещеры и ущелья, про озера и ледники. Сколько лет Миша ездил сюда, столько разных вариаций слышал. Уж договорились бы хоть, что ли. Вот оно — формирование народного фольклора в двадцать первом веке, не могут общую программу историй составить.

Вот опять байка про мужика, нашедшего золотой слиток и бросившего его на дно озера. «Потому что понял он, что богатство не может принести счастья» — нравоучительно закончил экскурсовод. Миша саркастически хмыкнул. Он прекрасно помнил, как в ту ледяную бабфросину зиму Витька в один день стал счастливым. Из-за бесконечных трат на аренду и обогрев веранды Витька сокрушался, что ему денег даже на кино не хватает. Ходил все время понурый и тревожный, никак не находя возможности подработать, но гордо не соглашался на то, чтобы дрова и электричество оплачивал Миша, которому мама заботливо посылала половину своей зарплаты, уговаривая в письмах следить за здоровьем и хорошо питаться.

Однажды Витька пришел радостный и с возгласом: «Ну все, теперь заживем!» бросил на стол какую-то бумажку и улегся на кровать. Миша посмотрел в бумажку и ничего не понял: это был постоянный пропуск в производственный цех. Обычно им выписывали разовые при необходимости, поскольку оба они, как инженеры, работали в непроизводственных зданиях завода: Миша в экономическом отделе, Витька в так называемом научном.

— А это зачем тебе? — Миша уже привык к Витькиному умению из всего делать яркий ход. За эту черту Витьку любили в компаниях — эдакий парень-иллюзионист, любую историю расскажет так, что заслушаешься.

— А за тем, Мишка, что мы теперь с тобой заживем, наконец, как настоящие московские ребята! Наконец я придумал, как все устроить с деньгами.

Миша растерянно улыбнулся.

— Теперь я, Мишка, полноценный рабочий! Долой буржуев инженеров, да здравствует черный труд! Это надо отметить! В субботу едем с тобой в то кафе на Арбате, как его там? Буду проставляться. Только ты мне денег одолжи, а я с первой полочки отдам.

— «Метелицу», что ли? Ничего не понял. Ты что, уволился?

— Уволился со ставки инженера, зачислился рабочим. Так что теперь мой оклад ровно в полтора раза больше твоего! Вот она — сила революции, все деньги в низы!

— Ты чего? Зачем?! — Миша был сбит с толку.

— Затем, что это такие, как ты, должны работать головой в теплом кабинете. У тебя вся семья мозговитых. А я самой жизнью был уготован для простого ручного труда. Я еще когда только оформлялся, все расспросил, они мне сами предложили плюнуть на диплом и идти на больший оклад, но рабочим. Но я тогда гордый был, думал, как это, зачем же я пять лет учился?

— И зачем же...

— Хороший вопрос, кстати! — Витька как-то грустно ухмыльнулся. — Может, чтобы спину гнуть на пять лет меньше. Все же в институте книжки читать повеселее, чем детали вытачивать. А как вступил бы в рабочую жизнь, так на равных уже без льгот, и на всю жизнь у себя в Новокуйбышевске и застрял бы. А тут вот, считай, в Москве работаю! И правы они, надо самому себе жизнь строить, мне рассчитывать не на кого.

Миша сел на кровать, испытывая и жалость, и сочувствие, и какое-то разочарование к другу. У них были такие планы вместе, Миша только начал чувствовать себя по-настоящему взрослым, вместе им удавалось решить все вопросы, выкручиваться из щекотливых ситуаций, справляться с унынием распределения.

— Ты что же, получается, снова к ним? Мы же от этого с тобой сбежали.

— Чего, боишься, что я такой же стану? — Витька искренне улыбнулся, хотя Мише было не до шуток. — Ну что ты за фаталист?

Витька вскочил, открыл скрипящий сундук и начал раскладывать свой скудный гардероб на кровати. Витька разложил все содержимое по стопкам и достал лист бумаги.

— Итак, Мишка, теперь мы с тобой заживем! Для начала надо мне купить нормального вида брюки и рубашку. Хочу штаны вельветовые, как у того пижона бородатого, помнишь, у Верки на квартирнике? Сейчас набросаю мои траты и определим, сколько у меня будет оставаться каждый месяц.

Витька с улыбкой занялся делом, быстро набрасывая своим каллиграфическим почерком смету на месяц.

— Готово. Так. Значит, слушай сюда. В субботу идем в «Метелицу» отмечать это дело вдвоем. А в воскресенье едем на блошинный рынок, у меня где-то был адресок записан.

— А рынок зачем?

Витька улыбнулся и покраснел:

— Запонки себе хочу. Смешно, слушай, но все пять лет института мечтал о них, у профессора увидел и прям слово себе дал — как только обживусь, с первых лишних денег куплю себе запонки!

— Под них рубашка нужна определенная,— машинально проямлил Миша.

— Какая это — определенная?

— На манжетах должны быть прорези под запонки, а не пуговицы пришиты.

Витька поглядел на стопку из трех блеклых застиранных рубашек:

— Вот что ты за человек такой? Вечно все счастье испортишь! — он взглянул на Мишку и рассмеялся от кислого выражения лица друга. — Купим запонки, а уж тогда придется и рубашку.

Миша улыбнулся, вспоминая обрывками, сколько еще пижонских вещиц они накупили в тот первый подмосковный год и потом, когда Витька приезжал в увольнение из Владивостока с полными карманами денег и истосковавшейся по покупкам душой.

Служить Витька отправился именно из-за денег, когда закончились три года по распределению на заводе. После военной кафедры он получил офицерское звание лейтенанта запаса, а гражданам, готовым защищать Родину где-то на северах или Дальнем Востоке, предлагались огромные по тем временам оклады в двести восемьдесят рублей против инженерской зарплаты Миши в сто двадцать. Витька мерил будущее жалование в ботинках или в пластинках, иногда в наручных часах. Потом высчитывал, сколько сумеет накопить, ведь «там наверняка тратить-то особо не на что». Как выяснилось уже через пару месяцев службы, Витька даже представить себе не мог, насколько там было не на что тратить. Разве что на алкоголь, которым утешались 99% тех, кого жизнь забрасывала в такую глушь.

. . .

— На самый верх водопада мы туристов не пускаем. Конечно, заграждения нет, но, пожалуйста, не поднимайтесь. В семидесятые годы мужчина упал оттуда и разбился насмерть. Полез

наверх позировать для фото, — экскурсовод встал сбоку от тропинки.

Что за чушь: позировать для фото. Фотоаппарат в нашей молодости был вещью ценной. Это не как сейчас — достал из кармана телефон, щелкнул, убрал. Мы на каждом углу не фотографировались. А тем более, когда в поход идешь: за спиной не современные палатки в два кило, а брезентовые, да одежда теплая тяжелая, да еще снаряжение сколько весит. Ага, много ли дураков было фотоаппарат на себя нацеплять. Случались, конечно, да не в нашей компании.

А Витька полез за цветком для Светы. Там, наверху, торчали какие-то желтые. Обычные полевые. Да вот только Света вздохнула по-девичьи: «Какая красота там растет!» — и все, как говорится, процесс запущен. Витька и полез. Миша не полез. Не потому, что страшно: снизу и не казалось, что там высоко: когда у подножия стоишь, вроде и тропинка есть, и валуны крепкие, видно, за что держаться, не отвесная скала. Мише просто и в голову не пришло куда-то лезть за цветами, хоть Света была его невестой. Их же можно было сорвать и в поле или купить в Москве, как он несколько раз делал.

Миша подошел к плите и посмотрел на потрескавшуюся эмалированную фотографию Витьки. Экскурсовод тоже подошел, указывая остальной группе направление тропинки вверх, к подножию водопада. Миша вынул из кармана упаковку влажных салфеток и начал протирать плиту. Потом аккуратно свернул салфетки, положил их на траву в стороне и достал бронзовую флягу.

— Ну что, Витек, привет! Добрался я наконец!

Экскурсовод хотел было что-то сказать, но тихо развернулся и пошел к группе. Миша чокнулся с воздухом, отпил несколько глотков.

— Ну давай, посмейся надо мной, посмейся: вода у меня там, а что я могу? Я, брат, уже шестой год не пью, я же тебе говорил

в тот раз, что доктора насели, надо было хоть попробовать этот их ЗОЖ. Зато, между прочим, сбросил одиннадцать кило и сразу никакой одышки до четвертого этажа, понял? — Миша хлопал было себя по животу, но потом осекся. — Правда, за этот чертов карантин опять три набрал. Ничего поделать с собой не мог: ем и ем! Тебе тут хорошо — на свежем воздухе, вокруг горы, птички, реки, а мы там на балконах себя выгуливали между коробками столетнего хлама с видом на ближайшую стройку. Ни походить, ни побегать. Да-да, я вполне еще бегаю, не надо тут. Конечно, не как мы с тобой на последнюю электричку из Москвы, но вокруг парка трусцой пробежать могу. Так что, брат, в трезвых буднях в моем возрасте есть свои плюсы, потому сегодня с минералкой. А фляга для антуража, как ты любишь.

Туристы спускались с водопада по тропе, пролежавшей в нескольких шагах от памятной плиты. Экскурсовод встал, как будто случайно заслоняя Мишу от остальной публики, оберегая от взглядов и любопытства. Миша подумал, что Витьке, наоборот, захотелось бы, чтобы люди подходили, спрашивали, чтобы послушали, поговорили о нем. Витька всегда любил внимание. В том походе он и вовсе вел себя как на сцене — безудержно и громко шутил, носился как ужаленный, смеялся во весь голос. Уже на второй день он в шутку заметил Мише: «Если ты так и будешь со Светкой мямлить, я ее у тебя уведу, учти. Такая невеста рядом, а ты все тянешь!» Витька не был нагл, но порой подзуживал Мишу, то при всех говоря Свете необычные комплименты, то принося ей с утра пораньше лесной черники, то бегал в Светино дежурство за водой для каши, пока Миша только успевал об этом подумать.

Мраморную белую с серыми прожилками плиту водрузить удалось только следующей весной. Странные это были полгода между двумя поездками на Алтай... Миша практически не запомнил, как возвращались домой, как он мотался по Москве,

развозя авторефераты рецензентам, оппонентам, выбивал какие-то бумажки и места. Кажется, должен был успевать делать десяток дел ежедневно, но все вокруг казалось таким замедленным, тягучим, бесконечно серым.

Где-то там присутствовала в осеннем тумане и Света. Только совсем не запомнилась. Пару раз они встречались, но Миша не запоминал эти встречи, так пусты они были. Ему не хотелось с ней говорить. Нет, он убеждал себя, что ничуть не винит ее: это могла сказать любая другая девчонка. Но зачем ему дальше с ней общаться, если это все же была она со своими глупыми цветами?

Света первое время, кажется, тоже переживала. Только вот за что именно. Никто, кроме Миши и Витьки, и не слышал ее реплику там у водопада про цветы. Остальные девчонки с хохотом и ахами смотрели, как Витька карабкался вверх, а потом, когда все случилось, долго кудахтали бессмысленные «Зачем же он туда полез, что он там хотел? Для чего же он так сглупил». Миша молчал, Света тоже. Молчали в тот день, молчали до самолета и в самолете тоже об этом молчали. Они навсегда об этом замолчали, но это общее знание, для чего полез Витька, висело над ними и не позволяло поговорить об этом даже наедине.

До весны они как-то дотянули свое общение, а потом поехали устанавливать плиту. Девочки и правда все организовали хорошо, Мише осталось только найти местного водителя-грузчика с напарником, с которыми они и довели плиту на место. Обрато с Алтая Миша и Света возвращались по отдельности, и больше он ей не звонил. Судя по всему, она тоже все поняла. Хоть на том спасибо.

Последняя пара туристов поравнялась с экскурсоводом.

— Скажите, а пить из водопада можно?

— Я бы не советовал. Кто знает, что там наверху. Вон на соседней скале, видите, козы?

— Ой, точно. А как они оттуда спускаются? Это ж надо, какие резвые. Мы-то с трудом отсюда слезли.

— Да козы легко спускаются, у них это заложено природой. А вот бараны застревают. Козы в этом плане провокаторы: бараны на них смотрят и вслед лезут в горы. Козы сами слезают, а бараны не могут, приходится снимать.

Туристы ушли к автобусу. Миша отпил еще воды, поглядел на Витьку. «Тут внук в прошлом году помог в интернете Свету найти. Собственно, долго и искать не пришлось, она там в нашем институте законсервировалась. Знаешь, думаю, ты про нее ошибался. Смотрел я на нее, смотрел и понял, что ничего бы у нас и не вышло. Да и у тебя с ней, кстати, тоже. Профессорша, как сейчас говорят, деканша. А вот по лицу скажу — мегера мегерой, хоть и не постарела, кажется, вовсе».

Миша дождался, пока все туристы спустятся к трассе и подошел к водопаду. Свежие брызги отдавали уже осенней холодностью. Летящие сверху струи превращались у подножия в мелкие широкие ручейки, которые легко можно было перейти по мокрым отполированным камушкам. Миша прошел по деревянной, подгнившей от сырости доске к середине подножия и посмотрел вверх. Там, наверху, так же беззаботно колыхались разноцветные сорняки, подставляя последним лучам солнца свои незатейливые бутоны.

УХОДИ ПОД РАСКРАШЕННЫМ НЕБОМ

Повесть

ГЛАВА 1

From: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com
To: Client-service diabco-clients@diab.com

Уважаемые сотрудники отдела по работе с клиентами!

Джонатан Уириш, мой адвокат, связывался с вами для обсуждения моего участия в программе, но, как оказалось, вам важно и личное обоснование потенциального клиента. Что ж, вы, конечно, большие шутники. В 104 года человеку нужно объяснять, почему он хочет уйти? Серьезно?

Планета перенаселена, в Китае просят рожать не больше одного, в африканских странах лучше вообще не рожать, еды все равно на всех не хватит, а тут отживший больше века старик не может за свои же деньги (!) добровольно уйти: должен обогатиться.

Весь ужас в том, что я даже не могу этого сделать в своей родной стране, мы так далеки от всего мира, что я уже даже не надеюсь застать тот момент, когда и наши жители смогут достойно уходить по своему выбору. Точнее, я надеюсь не застать тот момент, поскольку уверен, что до него еще лет десять! И я, старик, вынужден буду лететь на другой материк. Но, кстати, в таком случае, может быть, вам и не придется работать, небо само заберет меня, ведь ни одна страховая компания не хочет сажать меня на самолет с гарантией выплат при наступлении

несчастливого случая! Несчастный случай? Да нет, помилуйте, это был бы счастливый случай! Спокойно умереть в небе...

Тело мое эти лентяи все равно экстренно скинули бы в ближайшем аэропорту. Но душа, душа уже полетела бы дальше, выше, не возвращаясь на эту землю. Так что я даже подумывал над тем, чтобы просто отправиться куда-то на самолете, дабы не ввязываться в вашу бюрократическую волокиту. Смущает меня лишь то, что Вселенная опять может поиронизировать и забыть забрать меня. Это уж будет слишком: преодолеть все таможни, досмотры и взлет, чтобы потом снова обнаружить себя на земле ординарно живым.

Я ведь искренне полагаю, что мое нахождение все еще на поверхности этой земли, а не в ее недрах, объясняется исключительно ошибкой. Статистической, быть может, или неким просчетом в формуле. Нас, переваливших за сотню лет, в мире меньше одной тысячной процента! Мы просто погрешность, выпавшая из общей кривой в системе координат. Моя точка затерялась на графике, ее не учли, не подобрали. Так что уж помогите отпустить мою уставшую душу.

С уважением,

Проф. Колин Томпсон

Распечатанное письмо отдали Элизабет почти час назад, а она все сидит и не знает, что ответить. Утром шеф вызвал к себе и сообщил, что есть запрос, скорее всего, по ее части. По ее части — значит, два варианта. Первый, составляющий 80% случаев перевода на нее, — когда нужно суметь отказать, потому что по каким-то причинам заявку невозможно осуществить. Второй, более редкий, — разобраться и просчитать все варианты, попробовать пробить почти гиблое дело и, уж если получится, тогда сопроводить весь процесс от начала до...

Элизабет смотрела на страдальческое лицо шефа, уже догадываясь, что вариант скорее первый. Из уважения к ее опыту,

он все чаще предлагал ей самой разобраться и вроде как самой решить, в какую сторону двигаться, а в последнее время вообще стал все более неуверенным. Сегодня его лицо изображало мигрень. За годы совместной работы она научилась вполне неплохо отличать его игру от настоящих переживаний. Раз играет, значит, дело скользкое, неприятное. В прошлом месяце опубликовали три агрессивных отклика от разных организаций внутри страны. К счастью, жалоб в Европейский суд по правам человека еще не было. Однако и швейцарская агрессия в их адрес была достаточно тяжелым бременем, потому усложнять себе жизнь и портить репутацию сейчас не время.

После прочтения письма стало ясно: клиенту нужно отказать. Старый, действительно старый человек. Но абсолютно здоровый. Конечно, по критериям своего возраста, понятное дело. Хотя многие 80-летние не могут похвастаться таким здоровьем. Так на каком основании можно признать его подходящим для программы? Классический минимальный набор — медицинская документация, кипы и кипы бумаг о проведенных обследованиях, терминальных стадиях заболевания и, главное, о доказанной мучительности болей и острого регресса качества жизни в связи с болезнью. А что мы имеем в этом случае? Она уже представила разговор с юристами. И это вызубренное «Мы не помогаем совершить суицид!»

Да-да, она знает, где грань, она прекрасно понимает. «Мы работаем на уважение права личности на добровольный уход в связи с физически невыносимым состоянием». И если организм исправен, то ничего не поделаешь: иди к священнику, психологу, психиатру, чтобы вылечили душу. За столько лет она научилась чувствовать состояние просителей, их отчаяние и их облегчение, когда принимают в программу.

Пока что за письмом сегодняшнего долгожителя больше слышно сарказма. Что там у него случилось — пойди разбери. С внуками поругался или с соседями? Кому решил «отомстить»,

чтобы сокрушались о его кончине? Они старательно пишут свои записки и завещания, растравляя воображение пафосными картинками, как рыдают на их похоронах не успевшие извиниться дети, как ругают они своих безалаберных внуков, не ценивших добродетельную бабушку или щедрого деда.

Таких вот обиженных через ее руки проходило немало. Их можно понять: люди на грани отчаяния от своей немогущности, а чаще одиночества, им кажется, что уйти намного проще, но сделать это своими руками они не могут. Но она, она не имеет никакого права обрекать своих медиков на роль палача. Они врачи, они помогают облегчить страдания.

Некоторые кандидаты после отказа пишут гневные письма, обвиняя и Элизабет, и всю их организацию в подлости, лицемерии. Но таких все же единицы. С остальными почти всегда удастся выровнять ситуацию. Были даже те, кто благодарил спустя какое-то время за подаренные дни или месяцы жизни... за возможность выпить еще несколько чашек кофе, увидеть ночное небо, пообниматься с любимой кошкой. Всем им было отказано по причине недоказанности (читай доказанности обратного) болевых страданий. Да, болезни в основном неизлечимые, но обезболиваемые. Значит, можно еще жить: пусть и в инвалидном кресле, но самостоятельно дыша, пусть и в постели, но с видом на весенний сад, пусть и медленно умирая, но без невыносимых физических страданий. В конце концов вся жизнь — это путь к умиранию.

И вот перед ней такой же проситель. При этом старик зашел сразу с юридической стороны: впервые к ним обращаются через адвоката. Значит, понимал, что не подходит, подстраховался. Уже первая заноза. Шефу нужны веско оформленные обоснования для отказа от юристов и максимально корректное разъяснение ситуации клиенту от нее.

А что она может? Только попытаться разговорить, найти хоть какие-то следы любви к жизни, сыграть на них, на нелогичности.

Все как учили тогда, когда впервые соприкоснулась с этим миром: максимальная корректность и уважение к нежеланию жить; никаких оценок и переубеждений.

Она обвела взглядом свежеремонтированный кабинет, мысленно намечая, какой дизайн-проект закажет через три года. Такие частые смены декораций — не ее прихоть. Это лишь напоминание сотрудникам, что ничто не вечно — не надо цепляться за вещи, память, события. Все эти сувениры и значимые вещицы в их случае — просто непомерный груз. Если бы она хранила подобные «дары» от каждого их клиента, ее кабинет превратился бы в Лувр. (Каким жутким показался ей этот бездонный музей в первый раз. Да и впоследствии она так и не смогла его полюбить: холодная тишина залов, бесконечные этажи собраний, запасники. От каждой вещи веяло чем-то невозможно ушедшим. Как можно хранить столько умершей энергии в одном месте?)

В начале работы, когда она только адаптировалась здесь, привыкала к новому способу видения мира, она имела неосторожность принять за первый месяц целых четыре вещи. Женщина пятидесяти шести лет, Мириам, была ее первой дарительницей. Накануне финального дня Мириам передала ей маленький потрепанный веер. Когда-то, безусловно, изящный, не бумажный, а из тончайшего дерева с резным орнаментом. На остатках его можно было разглядеть контуры райского сада с павлинами. Хвосты их были, по-видимому, особенно узорчатыми, поскольку от них остались лишь маленькие острые обломки.

Второй дар был от премудрого Шепарда. Его дневник. Из коричневой замши с золотыми выгравированными инициалами, явно подаренный за много лет до болезни; подаренный не с жалостью или нежностью, но с восхищением и уважением; не ошеломленному диагнозом человеку, а сильному, может быть, властному мужчине — так много было в этом сочетании фактуры и цвета. Плотные благородно-желтые страницы, не испорченные

типографским отбеливанием, каждая с тиснением, прошитые вручную шелковыми бежевыми нитями. Никаких тебе пошлых календарей или разлинованных расписаний, никаких прорезей под ручку или креплений под телефон. Эта вещь выбиралась под человека.

Как странно, ей казалось, что дневники нынче ведут только женщины, пытаясь усмирить свои чувства, выплескивая их неровными строчками. Шепард вел дневник своего ухода. С момента постановки диагноза. Как раз из-за этого дневника или благодаря ему, шеф вовремя изъясил у нее все четыре «дара».

Она все еще отчетливо помнила тот день «крещения». Кабинет был оформлен в индийском стиле, хоть и с присущим компании минимализмом: яркие цвета и роспись на стене, фиолетовые занавески, ароматические палочки. Она сидела за столом и плакала над строчками: «Мы в ответе за тех, кого приручили, но мог ли я предвидеть, что буду так немощен? Для Кити я, кажется, нашел чудесную семью. Их девочка приходила сегодня и так нежно ее обнимала. А Кити, всегда яростно выпускающая когти на любую попытку к ней прикоснуться, Кити вдруг стала такой покладистой, даже не шевельнулась. Понимала, что ей теперь нужно привыкать. Лежала на коленях и только поглядывала на меня, как будто не с осуждением, но с разочарованием...»

И в этот момент вошел шеф. Тогда еще бодрый, уверенный в себе и своем деле, Маркус нес такую энергию, что приходящие доверяли ему абсолютно. И вот он говорит ей что-то, по привычке неспешно прохаживаясь по кабинету, глубоко запустив руки в карманы вельветовых свободного кроя брюк. В какой-то момент его взгляд падает на стол, на раскрытый дневник. И взгляд этот становится резко холодным.

— Прошу прощения, а что вы читаете?

— Дневник. Дневник покойного Шепарда. Он ушел около месяца назад, неоперабельная аневризма, помните?

— Естественно, я помню. Для чего у вас его дневник?

— Я... я...

Тогда она растерялась, ощущая, что, видимо, в чем-то виновата, но никак не понимая, в чем именно.

— Он сам отдал! Он просил сохранить, прочесть в память о нем. Передал его лично мне, сказал, что детям оставлять не хочет, чтобы не ранить, у них и так много от него останется.

Шеф смотрел на нее уже не зло, но как будто разочарованно или озадаченно, как тренер на любимого, но проигравшего сегодня подопечного.

— То есть вам самой не показалось странным, что детей он решил «не ранить», а вас «одарил»?

Элизабет сидела молча, от страха (трехмесячный испытательный срок заканчивался через неделю) не решаясь обдумать вопрос шефа, а только вина себя, что не спросила его разрешения, сделала что-то самовольно.

— Возьмите это и следуйте за мной.

Они долго петляли по разноцветным и разнопахнущим коридорам клиники, пока не спустились по пожарным лестницам куда-то, кажется, еще ниже подземных гаражей. Пройдя несколько коридоров, он остановился у металлической хозяйственной двери. Обычная серая дверь на магнитном ключе.

— В эту комнату я вас приглашаю только сегодня. Я так понимаю, что вы к нам надолго, потому давайте ознакомлю с базовыми постулатами нашего мира. Доступ в эту комнату есть только у нескольких человек. За редким исключением, это те люди, которые не взаимодействуют с нашими пациентами вживую, по почте или по телефону. То есть те, для кого наши заказчики — просто фамилии и номера, просто документы для оформления. Вам, как человеку, ежедневно общающемуся с пациентами, вход сюда будет запрещен. А сейчас прошу вас.

Маркус приложил магнитный пропуск и открыл дверь. Поветило ароматом сладкой мяты. Распыляющиеся освежители

были размещены по всему зданию клиники. Запахи бессмертной природы: фруктовые, тропические, древесные — подавались согласно электронной системе управления. Их меняли местами каждые полгода, чтобы не надоедали сотрудникам.

В просторной комнате, похожей на склад, выстроились ряды металлических серых стеллажей. На них одинаковые небольшие коробки из дешевого картона, на каждой маркировка даты. Маркус жестом предложил ей пройти вперед. Она ступала осторожно, боясь растревожить тишину этого места. На рядах висели таблички с месяцами текущего и прошлого года. Она не решалась потрогать или спросить, только обернулась на шефа в ожидании.

— Это хранилище «даров». Как видите, коробки хранятся год после ухода. Ровно столько времени отведено нашим контрактом на то, чтобы родственники могли потребовать что-то из оставленного их родными. Поскольку юристы не сопровождают очно весь процесс ухода, то такое понятие, как последняя воля уходящего, его желание одарить и прочее — не является законным. Человек мог находиться в состоянии аффекта, неспособности и прочее, и прочее. Соответственно, родственники имеют право получить то, что ушедший подарил любившейся ему медсестре или санитарке.

— О, простите, я совсем не подумала...

— Да, вы совсем не подумали, — оборвал ее шеф, — но не о них, а о себе. В реальности с момента первой процедуры и до сегодняшнего дня у нас ни разу не было прецедента, связанного с дарами. Это всего лишь правило, созданное для того, чтобы уберечь наших сотрудников, особенно тех, кто слишком мягок для такой работы.

Элизабет опустила глаза, за эти три месяца она впервые слышала намек на претензию в свой адрес.

— Не думайте, что я решил вас поучить, поскольку боюсь, что когда-нибудь чей-то сумасшедший сын решит судиться

с нами из-за последнего носового платка ушедшего отца. Это было бы глупо и обесценило бы в ваших глазах идею всей нашей организации. Все гораздо проще. Вам нельзя хранить их дары. Потому что они уходят, вы провожаете их и должны остаться здесь, чтобы полноценно работать дальше с другими такими же нуждающимися в помощи людьми.

— Но они же просят принять? Мы должны говорить «нет»?

— Этически вы не можете отказать уходящему человеку в удовольствии оставить о себе что-то памятное. Но ровно в тот момент, когда процедура окончена и установлено время смерти, вы должны пройти в комнату А-3107, в конце коридора юридического отдела, и положить в точно такую коробку все то, чем одарил вас ушедший. В конце недели эту коробку спускают сюда, вниз, оставляя вместо нее новую в комнате А-3107.

— А куда эти коробки уезжают потом?

Маркус посмотрел на нее с удивлением:

— Их утилизируют, естественно. Мы не можем раздавать эти вещи, какими бы дорогими они ни были.

— Кажется, они надеются, что их вещи сберегут...

Маркус открытым жестом показал ей, что пора выходить. Захлопнув дверь, он заговорил мягче.

— Элизабет, наши клиенты — люди, чьи последние месяцы жизни были наполнены страданиями. Боль делает человека очень эгоистичным. Это нормально. И в этом эгоизме уходящему хочется, чтобы оставшиеся здесь помнили и страдали по нему. Это утешает их: мысль о том, что здесь будут о них вспоминать, грустить, вздыхать. Им кажется, что это и будет неким подтверждением смысла их жизни: раз остались равнодушные, то путь был пройден не зря. И они имеют право на эту фантазию, на это утешение, которое мы им тактично предоставляем.

Однако наши сотрудники имеют право на собственную жизнь. Они имеют право горевать только по своим ушедшим

близким, а в остальное время жить полноценно. Непонимание этого права мы прощаем нашим больным клиентам, но не персоналу.

В тот же вечер Элизабет положила в коробку в комнате А-3107 оставшиеся веер, значок космонавта и театральный бинокль, уникальную, антикварную вещицу, его утилизировать было жалче всех: слоновая кость с бронзовой оправой, на шелковой ленте именной вензель; в руке этот бинокль лежал так гармонично...

Она решила немного отвлечься, прежде чем приступить к сегодняшнему письму. На экране открылась сохраненная вкладка National Geographic. Исследования космоса. Это всегда успокаивало и настраивало на нужный лад перед решением сложных вопросов. В четверг ее прервали на восьмой минуте серии «Крайний рубеж телескопа „Хаббл“». Что-то про протопланетарные диски. Монитор озарился яркой картинкой, напоминающей ядерный взрыв: «Так рождается звезда...»

From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com
To: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com

Дорогой мистер Томпсон!

Меня зовут Элизабет Шнайдер, и я назначена личным куратором по вашему делу.

Ввиду уникальности запроса, нам необходимо продумать стратегию оформления данного случая. До сих пор у нас не было прецедента, чтобы к нам обращался клиент без предоставления какого бы то ни было медицинского заключения. Вы первый.

Это не значит, что мы отказываем вам, однако нам необходимо обсудить с юристами возможности правовых ограничений. Сами понимаете, наша организация, несмотря на идею уважительного отношения к человеческой жизни, часто подвергается нападкам со стороны правозащитников, консерваторов, церкви.

Пока мы прорабатываем вашу заявку на юридическом уровне, позвольте мне прояснить уровень мотивации.

Я с уважением отношусь к желанию человека самому завершать свой путь. Однако меня заинтересовали ваши слова о душе. Правильно ли я полагаю, что вы человек верующий? К какой церкви вы относитесь? Обсуждали ли вы свои планы с вашим духовником и готовы ли к осуждающей реакции со стороны вашей религиозной общины?

Увы, в моей практике ни один из наших клиентов пока не смог добиться одобрения процедуры со стороны представителей хоть какой-нибудь из конфессий. Наша задача — дать человеку уйти тихо, с облегчением, а не с чувством вины, стыда или страха за свою душу перед тем Богом, в которого он верит.

Поверьте моему опыту: людям легче уходить спокойно, когда их отпускают окружающие и собственная совесть. Отношения с верой у каждого свои, надеюсь, вы внутренне сможете найти решение.

*С уважением,
Элизабет Шнейдер*

...

From: Michail P. bestwriter111@yandex.ru
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Добрый день, уважаемая Елизавета!

Прошу прочесть мое письмо, оно не официальное, не рекламное, оно лично к вам. В вашей организации вы единственный русский сотрудник! Я надеюсь, что не ошибся со своими выводами, прошерстив интернет, социальные сети и все возможные ресурсы.

Я писатель. Понимаете, я писатель в состоянии кризиса. Нет-нет, не алкогольного и не финансового (хотя смотря с какой

цифры его считать), а, так сказать, в кризисе вдохновения. Да, смешно, соглашусь.

Что такое писатель в наши дни? Каждый второй. Текст к зимним ботинкам выложил, и ты уже во — писатель. С громкой приставкой «технический». А то, что другие в такой вот подобный текст всю душу вкладывают, этот сапог идиотский воспевают, про него пять страниц написали для разогрева, а им потом — извиняйте, не подходит, seo-шмео не просматривается, не продажный текст! Жалкие земляные тролли.

Ох, и троллями их не назовешь, это ж теперь каждое слово имеет свой идиотский сленговый смысл! Уже и не вставишь их: текст, понимаете, «двусмысленный выходит, подкорректируйте, мы крупное издание, у нас аудитория молодая, вы их собьете с толку».

В общем, я хороший писатель. Не верите? Вы загуглите, у меня есть премия «Помпей», это самая крупная в России для молодых писателей. Между прочим, вручалась прямо там, в самом сердце страны, можно сказать! Это вам не просто так. Это подтверждение. Чтобы не думали, что я из этих, жалких, которые недооцененные. Меня как раз очень дооценили, за что им большое спасибо, еще даже немного и впрок дали. В кредит, так сказать.

Но я, шепотом говоря, кажется, этот кредит ожиданий уже исчерпал. Скоро лимит поставят, скоро скажут: отдавай, дорогой. Не можешь сразу целиком романом, так хоть повестушкой какой-то, хоть рассказиками жажни. Нехорошо: мы тебе «Помпей», а ты раз — и в тень.

Мне, понимаете, просто перед ними стыдно стало. А исыякло, и все тут.

Я вот тогда даже купил подзорную трубу. У меня квартира с видом на МЦК — железная дорога прям посреди Москвы, купил ее с «Помпея», квартиру в смысле, да вот незадача: с обеих сторон ничего интересного. На одну сторону церковь и школа,

на другую — это МЦК. А у меня шестой этаж. Не видно сверху ни хрена. Я извиняюсь.

Только внизу копошатся мамашки с колясками, да школьники за угол покурить бегают. Дом ближайший только через МЦК, на той стороне стоит. А туда разве ж доглядишь! Вот и пришлось купить. Как в американских ужастиках.

Если уж совсем честно говорить, я сначала бинокль купил. Армейский. Но очень руки устают держать. У меня физическая форма слабовата. Каждый рассказ — это килограмма два лишнего веса. Повесть — уже на десятку. А вот для «Помпея» я роман написал. Если раньше-то написал, опубликовал — и в спортзал, на пробежку, и как-то уходило жировое хранилище. Но роман, сами понимаете, ударил по фигуре. Тридцать кило скинуть вот так за раз — это и здоровому человеку... а мы, люди творческие, чего прикидываться, все хворающие. В общем, тяжело стало в фитнес, особенно когда не пишется. Короче, руки у меня одрябли, с биноклем минуты две — и уже ноют.

Я не извращенец, не подумайте. Это же просто от отчаяния, от вины перед ними — теми, кто поверил, удостоил, разглядел, оценил ну и все по списку из моей речи. (Речь, кстати, я не готовил, но вышло, со слов критиков, очень мощно. В таких случаях нельзя готовить — сглазишь, сидишь на сцене с еще десятью такими и до последнего не знаешь: дадут или прокатят. Знаете, мне кажется, я бы в обморок упал, если бы меня не выбрали, такой уровень напряжения от ожидания — врагу не пожелаешь.)

Так вот они оценили и ждут. А мне же надо где-то брать материал! Я думал, что подцеплю пару сюжетов, просто пару жестов, немых в прямом смысле сцен, понимаете, а дальше уже фантазия включится.

Вообще, виновата во всем Линдгрэн. Я по ней в прошлом году писал статью для антологии «Мировые детские писатели». Решил подойти серьезно (я ведь не вру, что я хороший

писатель). Думаю, почитаю-ка я «Карлсона». Я из тех 90%, которые, естественно, смотрели его только в виде советского мультика.

Так вот, там очень много интересного и совсем не детского оказалось, на мою радость. Собственно, он говорил, что подглядывать в замочную скважину нехорошо, потому что она для ключа. А вот глазок (в его случае проковырянная дырка в двери) создан для глаза. Таким образом, по Карлсону, труба подзорная тем более создана для дозора.

Кто же мог подумать, что так далеко зайдет. Да и вообще, не хочешь, чтобы за тобой смотрели — повесь занавески, в конце концов! Кстати, таких нехороших людей оказалось достаточно много. И чего они занавешивают — девятый этаж, вокруг ни одного дома, чего ты там прячешь?! Кто мог додуматься до такой паранойи, что за ними с того конца железной дороги смотрят. А ведь все равно занавешиваются. Дикая, дикая у нас страна, конечно.

Поначалу досадовал, ничего подходящего не мог найти. Что ни окно — сидит за монитором, гримасничает, а действий и нет. Я все больше днем на небо смотрел. Если вы забыли, да ну, все равно наверняка помните, небо в Москве такого застиранного вида зимой, как белые носки, которые руками никогда не ототрешь. Но я ж не поэт, мне эти их эпитеты и метафоры — лишь крошки соли. А под них нужен кусище черного бородинского хлеба, да с деревенским ароматным маслом, иначе эта соль ничего не стоит. Пустые они, метафоры и красивые слова без плотного-то сюжета. Короче, не вдохновляло небо. О сапогах этих проклятых и то больше написал.

Пришлось все равно исследовать окна. Начал время подлавливать. Обычно утреннее с мая по октябрь — когда народ просыпается и его первым делом тянет шторы распахнуть, пробудиться. Ну и конечно, все склоки да скандалы, утром-то с недосыпа, недопива, недосекса...

И вот там пантомимы и оживают. Постепенно я начал фиксировать оптимальное время, потом для системности пришлось записать. Так у меня целая тетрадь завелась, кто да где, с кем живут, у кого какой режим.

Это стало похоже на дневник натуралиста, в детстве в лагере экологическом мы так описывали жизни мелких животных и птиц, которые вокруг нас в заповеднике жили. Они там не пугливые, потому что чуяли, что столько лет никто пальцем не трогал, значит, можно не шугаться человека. Так целыми днями за ними смотрели. Прекрасное было время.

А потом наступала осень и скучная школа. Одна отрада — телек. Мне где-то лет двенадцать было, когда к основным шести каналам добавились еще четыре модных. И на каждом что-то интересное бывало хоть раз в день. Вот и тогда я себе тетрадку завел, в которой записывал. Приходишь из школы — и вперед: 18:00 — «Путешествия в параллельные миры», 19:00 — «Рейнджер дорог», 20:00 — «Вавилон-5», 21:00 — «Таинственный остров». Очень раздражало, когда вдруг каналы меняли расписание: приходилось все продумывать заново, а то и вовсе пропускать что-то. Я даже помню, письмо писал на канал ТВ-6, когда они «Вавилон» перенесли на 22:00, в то время телевизор уже занимали родители. В общем, любовь к систематизированию у меня с детства.

Я как-то и не задумывался, что со стороны это может выглядеть странноватым: почасовые записи. Герои у меня были с прозвищами, чтобы легче ориентироваться: Орхидея (бабка на шестом, просто джунгли вместо балкона!), Голая (тетка — вот ни разу не интересно, обычно сверху пижама, а снизу голо), Зомби (мужик), Таракан (мальчишка с первого, все отковыривал что-то по всему дому и в рот совал).

В какой-то момент я даже забыл про цель наблюдения. Затянуло, каюсь. Это ж как сериал, только в твоей озвучке. И вот забавно, когда синхронно озвучиваешь «Люблю тебя,

солнышко». А баба этому зомби в ответ начинает орать. Я хоть и без звука смотрел, но по перекошенному лицу догадаться можно. И приходилось импровизировать на ходу, придумывать, отчего ж она так реагирует. Очень, кстати, хорошо тренирует мозг.

Я вот подумал, что если меня пригласят когда-нибудь, как хорошего писателя, преподавать юным дарованиям, то я буду давать студентам подобные упражнения. Очень воодушевляет.

Так, о чем я. Ах да, про свои наблюдения. Так вот, в какой-то момент мне позвонил редактор и напомнил про ожидаемые тексты. Пылящаяся статуэтка «Помпея» шумно вздохнула. И тут я понял, что можно вообще ничего не фантазировать! Вот он — уже готовый сюжет! Куда ж круче?!

Трудился пару недель над общей канвой, слепил, отнес... А редактор развернул: не тот формат, шли на ТВ, художественности нет, одни сцены. Логично конечно, что видел, то и писал.

К великому моему удивлению и последующей много позже печали от навалившихся проблем, они там на ТВ текст взяли, отдали своим сценаристам на переделку и... В общем, неплохой сериал вышел. Целый сезон отсняли. И финансово очень подержали талантливую автора.

Мне ведь и не подумалось тогда, что «зомби» этот действительно от ящика не отлипает. Конечно, многовато я вставил реальных сюжетов, в принципе можно себя узнать, но чтоб так заморочиться! Чтобы вычислить и прийти разбираться... Что за люди пошли?! Склочные какие-то, мелочные.

В общем, отобрал он у меня трубу. Сказал, что если еще раз что-то хоть близко подобное напишу, то отберет у меня и невинность.

Я сначала обиделся, мол, какая невинность, может я неухожен (я в творческом провале, мне не до внешности), но до Вассермана мне все равно далеко, женщины в моей жизни были всегда, даже в трудную минуту.

Потом он пояснил, что, оказывается, не ту невинность, ну, не основную, в общем, а дополнительную. А за нее мне и правда стало тревожно. Хоть люди и считают, что у нас в творческой среде все мужчины — они эти... но, скажу я вам, вовсе не все, то есть я вот не из них, и насильственным путем к ним присоединяться не хотел бы. Ничего против коллег не имею, но пока меня все устраивает и так.

А понимаете, как он пригрозил? Он сказал, будет каждую неделю мою фамилию гуглить, чтобы ни одного вшивого рассказика мимо него не прошло. И если хоть в одном почует намек, метафору, отсылку к его жизни (естественно, я для вас его слова перевел с языка матовой лексики), то все. А поскольку он из совсем примитивных, ему же в любом слове может почудиться!

Нет, конечно, неплохо, что на одного читающего в нашей стране станет больше, но я не готов положить на алтарь самое сокровенное. А адрес-то у него есть. А теперь еще и моя труба, направленная на окно своего бывшего тоскующего владельца.

Я теперь пишу только в комнате, которая с видом на церковь. Сначала думал занавески повесить от его трубы, а потом испугался, вдруг он надумает себе, что пишу. Решил наоборот, активно его убеждать, что я только ем, сплю, телевизор смотрю. Убрал из бывшей дозорной комнаты все намеки на письменные принадлежности. Поставил мольберт для виду.

В общем, не писать я не могу, я же писатель. Но теперь писать не могу то, что привык. За фантастику мне братья поздно, оттого я стал искать темы в мире зарубежном. А что там у вас, чего нет у нас? Иммигранты, политиканы, забастовки — так этого добра уже и у нас полно!

А вот всякая там толерантность — это пока экзотика. Мы как народ к ней не привыкли. Рубили сколько веков друг друга, а тут вот терпимость, принятие — смешно даже. Ну, в сексуальной сфере толерантность — тема уже заезженная, а вот ваш род деятельности меня заинтересовал. Это же такое далекое от нашей

страны, нашей культуры, такое нам чуждое. Сами понимаете, зачем нам эвтаназия? В России с ноября по март: тяпнул немного и пошел на улицу, прилег случайно, вот и все, отпустил душу. У нас, судя по продолжительности жизни, полстраны находят способы для эвтаназии. Да и государство каждый год подкидывает возможностей, не дает нам совершить грех, так сказать.

Потому я решил обратиться к вам. За материалом, конечно же, а не за услугой эвтаназии. Я хочу написать о вас книгу. Пока еще идея слишком обобщенная. Наверное, о том, каково это, каждый день общаться с умирающими, работать с болью, смертью, прощанием, как вы выживаете в таких условиях и что принудило вас работать именно там?

Я абсолютно открыт к вашим предложениям касательно формата и идей. Будет то роман или вы позволите мне написать биографическую книгу... История о вас или же истории ваших пациентов. Понимаю, они могут быть конфиденциальными, но все-таки всегда можно обобщить, поменять декорации и имена...

В общем, писатель готов написать о вас абсолютно безвозмездно!

Как-то напыщенно получилось, а я вовсе не такой. Я искренне надеюсь, что вы сможете поделиться со мной чем-то интересным. Своего рода терапия для вас: рассказать о том, что накопилось.

Я вот ходил несколько раз к психологу, не поверите, отличный оказался специалист.

И вообще очень интересный формат. Можно говорить и говорить. Правда, за это платить деньги нужно. Но зато ты точно знаешь, что можешь рассказать все, и тебе ничего за это не будет! Я как-то даже выругался на него матом, и ничего, сидит, улыбается! Проанализировал сексуальный подтекст моих матерных высказываний.

Правда, потом мы вышли на тему мамы, и, кажется, он удивился некоторым моментам моего воспитания. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Я надеюсь, что мы с вами еще спишемся, не правда ли?

*С приветом с вашей родины,
Михаил Петричкин*

...

From: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Уважаемая Элизабет!

Я рад, что мне ответил конкретный человек, ведь с живым объектом шансы на адекватный диалог намного выше, чем с бюрократической машиной, в которую, как я полагаю, постепенно превращается и ваша прекрасная по благородности целей организация.

Пожалуйста, обращайтесь ко мне просто Колин. Я стар для формальностей. Надеюсь, ваши юристы не слишком затянут процесс подготовки, иначе они рискуют остаться без клиента.

Шучу! Как и писал ранее, полагаю, в небесной канцелярии обо мне забыли, и, если не вмешаться, то могут и не вспомнить еще с десяток лет.

К вашему главному вопросу... Знаете, про душу это я загнул, конечно. Я ученый. Сами понимаете: какая душа или Бог? Почти девяносто лет своей жизни я работаю со смертельными вирусами. В погоне за ними где только ни бывал. Нигерия, Уганда, Сомали, вся Индия... Вот ведь забавно, вирусы ни разу меня не попытались убить, хотя шансов бывало немало, особенно когда начинаешь исследовать биоматериал на контагиозность, работаешь с каким-то новым штаммом и еще не известны пути заражения.

Это удивительные создания, вы их можете увидеть только через профессиональный микроскоп — многие из них поистине красивы. Вирус Ласса, например: как игрушечные морские мины с рогульками, только зеленого цвета. А денге вообще чудо: будто теннисные, бархатистые мячики, сотканые из геометрических звездочек и овалов синего, бордового, зеленого цветов. Но такие крошки способны уложить взрослого мужчину на лопатки всего за пару суток, приковать его к постели, как немощного старика, заставить страдать, покрыть тело кровоточащими язвами...

При этом я всю жизнь искал способы, как их убить, победить, уничтожить, чтобы сохранить людям жизни, много жизней. Нет, мы не хирурги, к нам со слезами не бросаются родственники умирающего, никто не благодарит нас каждый год, отмечая годовщину своего второго рождения. И в современных статьях Всемирной сети о нас пишут так безлико «австралийские ученые нашли лекарство от...» За этим стоят сотни, тысячи человек только нашего материка. За каждым из них — годы непрекращающейся работы: учеба, степень, исследования, лаборатории, статьи, конгрессы, книги. А для общества мы просто некая группа трудяг, копошащихся в закрытых лабораториях.

И все же мы делали уникальную работу. О ней даже не всегда и слышат, пока не столкнутся с одним из наших исследуемых: африканский трипаносомоз (сонная болезнь), Марбург, Эбола... Вот тогда-то в научных журналах, а иногда даже в репортажах дотошных корреспондентов и всплывают одно за другим наши имена, наши исследования, наши смыслы жизни.

К счастью, большинство людей знает о нашей работе крайне мало, и, как ни странно, это происходит как раз потому, что работаем мы хорошо, уж не считите за нескромность.

Вы уж простите мне мою старческую любовь к воспоминаниям и отвлечениям. Так вот я своей работой всё же спас

немало жизней, отдал свой долг семье, университету, своим учителям, своей стране и ее налогоплательщикам. Теперь же мне хотелось бы уйти. Как говорят в покровительствующей нам старушке Англии, «присоединиться к большинству». И это не решение отчаяния или грусти, не депрессия и не тоска. Просто мне действительно пора.

*С уважением,
Колин Томпсон*

ГЛАВА 2

До обеда еще больше часа. Думается сегодня плохо. Утром на пробежке Элизабет неудачно подвернула ногу: вроде бы ничего серьезного, при ходьбе почти не отдает, но вот бежать дальше не получилось. Это выбивало ее из графика подготовки к полумарафону. Все-таки двадцать один километр в ее уже не девичьем возрасте — шутка ли. Режим тренировок был просчитан профессиональным тренером и какими-то современными программами.

Надо сосредоточиться на письме. На каком из них? Ответ Колину пока что кажется неподъемным. Он явно хочет поскорее все закончить. Что может она предложить? Лишь череду вежливо размытых писем.

Значит, надо этому писателю. Как его там — Петричкин? Удивительно бессюжетная фамилия. А размер письма — на роман тянет, как из прошлого века, боится, вдруг что не доскажет.

И что прикажете ему отвечать... Петричкин хочет предысторию, жаждет знать, когда она вдруг поняла свое предназначение. Какая банальность. Как сюда попала, так и поняла. Формально почти пятнадцать лет назад, сразу после двухгодичного плавания на корабле-госпитале. А если брать глубже?

В день, когда ей прислали итоговый офер на эту работу, она позвонила Виолке. Слабый конечно советчик, но за неимением

других — хоть что-то. Или не совета хотелось, а как будто тревожно было, что подумает единственная подруга о такой работе. «Что думаю? Да я б всю свою семью эвтаназировала, если б можно было!» — Виолка ответила в своем духе, чем несказанно обрадовала. Да уж, семейка у подруги была не похожа на картинку журнальных обложек: младший на двадцать лет брат-наркоман, отец-алкоголик, мать-психопатка, с детства такие устраивала закидоны, что даже по телефону страшно было это слышать. Единственные Виолкины бабка с дедом завещали свою квартиру брату, хотя на момент их ухода он был еще мелким школьником, а Виола с трудом тянула ипотеку на однушку в Раменском. Наверное, с годами Элизабет и Виола стали еще ближе именно из-за этого негласного понимания, что жизнь, вообще-то, не самая легкая и радостная штука, а финал у всех примерно одинаковый, так что просто крутись и пробуй искать то, что тебе подходит.

В общем, Виолка с работой очень поддержала. Хотя писателю это вряд ли будет понятно: одинокая сорокалетняя женщина решила работать в сфере эвтаназии, потому что ее саркастически-завуалированно поддержала такая же сорокалетняя и такая же одинокая подруга из той страны, где само слово «эвтаназия» в рейтингах популярности поисковиков занимает место где-нибудь между «ономастика» и «кроссингвер». Объяснять Петричкину саму историю с работой нет никакого желания, да и не просто так она свалилась. Это был путь. Определенно долгий, хоть и не очень осознанный, но путь. Теперь она это понимала.

Она отлично помнила и не раз в своей жизни разворачивала эту ниточку событий к глубинным истокам своего выбора. Но этот писатель — какой-то он дурковатый, как любил говорить папа. Стоит ли ему рассказывать, раз такой недалекий? Читать его волшеббно-гениальный роман, чтобы судить, вдруг там действительно шедевр, у нее не было никакого желания.

Сама идея книги звучала абсурдно. Элизабет уже давно не жаждала внимания, снисходительно смотрела на стремящихся к публичности людей. Все эти истерические порывы и страсти были успешно проработаны за шесть лет сеансов у психоаналитика. И вот теперь снова по кругу...

И кто ее дернул обмолвиться Маркусу о нелепом письме с далекой родины? В понедельник на террасе цюрихского кафе к западу от Бюрклиплатц она любовалась, с каким неиссякаемым аппетитом шеф поглощал утренний *rain au chocolat*¹, потом перевела взгляд на паутинку морщинок, расползающуюся год от года по его белой коже. Следы старения ложились на его лицо ровно и неизбежно, как вечерняя тень.

Маркус любил поесть вкусно и с изыском. Трапезу он считал безусловным даром нашей жизни, слишком ценным, чтобы портить его чем бы то ни было, тем более профессиональными дискуссиями, потому разговоры о работе во время еды были категорически запрещены. Но за столько лет уже, казалось, не осталось тем, которые они не обсудили бы, потому так искренне делились любой новой мыслью о чем угодно: будь то прочитанная еще в детстве и случайно вспомнившаяся книга или ожидаемая премьера, очередная война или новый рецепт.

Те щекотливые сюжеты, которые обычно стараешься обходить в общении с коллегами, во избежание ссор и разочарований, для них, наоборот, были самыми ценными. Когда в работе соприкасаешься с чем-то, что стоит выше людских разногласий, с чем-то, что практически не контролируется человеком, какой бы властью и деньгами он ни обладал, то ссориться из-за политических предпочтений собеседника просто смешно.

Наверное, оттого она с легкостью, полушутя, рассказала ему про своего почитателя, готового написать о ней книгу.

¹ Ролл из теста с шоколадной начинкой (франц.)

Рассказала со смехом, но, заметив сосредоточенный взгляд Маркуса, осеклась: подумала, что все-таки затронула тему работы, а он был крайне щепетилен в вопросах границ, и точно теперь резко прервет ее. Маркус отер рот салфеткой и озадаченно нахмурился.

— Ты что-то ответила ему?

— Зачем? С такими лучше даже в диалог не вступать, потом не отлипнет. Пусть будет думать, что ошибся почтой или что я не понимаю русский. А что ты об этом думаешь?

— Спасибо, что спросила. Ты знаешь, я не позволяю себе давать непрошенные советы. Так вот, как твой друг, я бы сказал, что это очень интересный поворот. На мой взгляд, все, что происходит случайно, бывает особенно значимым. Собственно, твой жизненный опыт тому отличное подтверждение, не правда ли? — все перипетии ее скитаний по миру были ему известны и обсуждены по кругу несколько раз. — Так вот, как друг я посоветовал бы тебе рискнуть, поскольку ты ничего не теряешь.

— А не как друг?

— А не как друг... То есть как твой начальник... Я попросил бы тебя принять предложение и сделать таким образом очень значимый и своевременный вклад в имидж нашего общего дела.

— Ты серьезно?!

Маркус подозвал официанта и вместо счета попросил еще один кофе. В ее размеренной жизни удивлений сегодня хватило бы уже на полгода. Шеф не просто решил обсуждать работу, но и продолжил при этом свой завтрак.

Да, в последние месяцы о них действительно написали несколько очень жестких статей, и, возможно, он думал о работе и дома, но не настолько же, чтобы отказаться от ритуалов, которые беспрекословно соблюдались каждым работником компании. Для нее самой они стали не просто способом ублажения

Маркуса, они стали ее собственными ритуалами, ее идеями, ее верой в ценность жестких границ.

Дальше она его слушала вполуха. Что-то про имидж, про угрозы, про загадочную смерть министра здравоохранения (найдена мертвой на велосипедной дорожке районного парка без следов насильственных действий, свидетелей тоже не нашлось). Той самой дамы, которая так активно лоббировала интересы эвтаназии. Смысл речи был понятен Элизабет, как и план дальнейших действий.

Конечно, она сделает, как он просит. Конечно, она осознает возможную ценность этого шага. Что-то там про пиар, про международное внимание, про интерес из такой дремучей России, в которой (даже в ней!) понимают ценность их миссии и прочее, и прочее. Только она никак не могла прочувствовать, что же за всем этим стоит — что на самом деле происходит с Маркусом? Она что-то упустила, не заметила, в какой момент все поменялось?

Разве так сильно мог поменяться ее Маркус? Да, с годами стал более вялым, менее уверенным, в отпуск ездит чаще, смеется чуть реже, но все это такое естественное, нормальное, что ли. Да и в принципе согласно его теории стабильными должны быть лишь регулярные перемены: с этим он продолжал справляться прекрасно. Новые костюмы, эксперименты со стрижками и бородой, новые путешествия, всегда авторские, с уникальным маршрутом. Последнее было в Исландию на джипах в компании абсолютно незнакомых мужчин со всего мира. Маркус рассказывал о нем месяца два и ни разу не повторился.

Даже ей, искушенной бродяге-путешественнице, было завидно от описаний диких безлюдных бухт и безымянных водопадов, обрядов посвящения с картофельным шнапсом и тухлым мясом полярной акулы. Ей всегда хотелось попасть в его истории, в его воспоминания, в его путешествия. Со-чувствовать, со-переживать, со-прикасаться.

О своих путешествиях она рассказывала сбивчиво и скудно, только с Маркусом получалось разговориться, потому что он умел мастерски задавать вопросы. Это не раз выручало его во время острых дискуссий по рабочим проблемам в департаменте или министерстве, во время переговоров с инвесторами или местными органами власти. Маркус умел так сформулировать вопрос, что собеседникам хотелось говорить, говорить много и в «нужном» направлении. Он был прекрасной иллюстрацией для сомневающихся в ценности докторской степени по философии: умение видеть по-другому, умение анализировать, умение строить дискуссию — все это можно использовать в любой профессии.

Теперь же, глядя на стареющего Маркуса, она вспомнила недавнюю серию документального фильма про Меркурий, как он, предположительно, потерял свою мантию: ее просто выжгло солнце, превратило в пепел, который разлетелся по нашей галактике, оставив Меркурий с одним лишь железным безжизненным ядром.

...

From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com
To: Michail P. bestwriter111@yandex.ru

Уважаемый Михаил!

Вчера кроме согласия не успела ничего написать по делу. Что ж, давайте сразу к сути. Итак, предыстория. Честно говоря, обдумывание того, как нужно говорить и с чего начать, так меня утомило, что я решила писать как есть, а уж вашей задачей будет привести все это в соответствующую форму. Все-таки из нас двоих именно вы — писатель. Поэтому, чтобы не тратить время на условности и объяснения, просто буду писать отрывками, в свободное время. А вы уже смотрите, что из этого потока вам подойдет для книги.

Что ж. Думаю, что началось все с истории с соседом. Наш сосед в московской родительской квартире был генерал в отставке.

Из таких типичных — высокий, вечно борющийся с приросшим пузиком и круглящимися щеками. Вообще, мужчина незлобный, добросовестный. Когда-то был действующим военным, или, как там у них называется, воевал по-настоящему, а к пенсии в кабинет перевели, вот и расширился, заскучал, наверное. Они с супругой мне как дядя с тетей были. Всегда дружелюбные, общительные. Уже через год, как они переехали, весь подъезд их знал и уважал. Он — веселый и громкий, она — приветливая, интеллигентная, спокойная.

Потом он начал худеть. Ему удивительно шло — черты лица стали острее, обозначились мужские скулы, мудрые морщинки. В какой-то момент его глаза превратились из китайски-заплывших щелочек в крупные карие, бархатные, глаза. В них появился блеск. Все мы думали: как похорошел, как идет ему эта жесткость и четкость черт, как приободрился он, взгляд стал острее, мужественнее, движения, наоборот, смягчились, ушла суета. Это длилось около полугода. А потом он продолжил терять вес слишком быстро. Щеки постепенно ввалились, под глазами легли коричневые тени, а тот принимаемый за задорный блеск превратился в лихорадочное свечение...

И все начали понимать, что это уже не про здоровье, что происходит что-то грустное, чего не хочется замечать, слышать, ощущать рядом. Как будто при расспросах ты сам мог ненароком коснуться этого... коснуться и уже провалиться туда, в чужую беду. Он угасал стремительно, а потом и вовсе перестал выходить из квартиры.

В тот день на лестнице я встретила с его супругой. Она была подавленной: понятное дело, муж болеет, совсем дела плохи. И взгляд такой, что вот-вот заплачет, поговорить бы с кем. Сама стоит на площадке, выдыхает, домой не идет. Я ее только приобняла без слов, а она расплакалась: «Обезболивающее Мише сегодня не выдали, не хватило какой-то подписи на бумажке». Я-то девчонка еще, мне показалось, мол, не самое

страшное, живой ведь пока, просто лекарство! Завтра сходит, получит, давай ей тараторить, что один день — это ничего, что все еще будет хорошо, обязательно. А она так смотрела на мое лицо, как будто искала чего-то, потом прядь волос моих за ухо завела и едва улыбнулась.

На следующий день наш подъезд был оцеплен. Генерал застрелился из наградного пистолета. Их, оказывается, не сдают, когда уходят на пенсию. Может, оно и к лучшему, что не сдают. После него было еще несколько громких случаев в тот же год, тоже военные, кто на шнурке повесился, кто из окна. Из пистолета, на мой взгляд, все же мужественнее, как-то по-военному.

В день, когда он застрелился, меня в подъезд после института пускать не хотели, куча людей вокруг, репортеры, комиссии... Человек просто хотел уйти, потому что ему было больно. Я попыталась представить, насколько же больно... И не смогла. В записке он винил законодательство или правительство в создании стольких препон для получения рецепта. Его родные вынуждены были постоянно отсиживать очереди ради нескольких подписей в рецепте, потому что сам он передвигаться уже не мог.

Как странно вспоминать это теперь, когда знаешь, что человек может уйти совсем по-другому, без злобы. Уйти, обняв своих близких напоследок, в красивом месте под нежную музыку.

Они закрывают глаза, ощущая мягкую, почти воздушную, перину. Мы используем матрацы, как в ожоговых отделениях: специально разработанные так, чтобы человек почти не ощущал давления от соприкосновения. Здесь включают кислород на полную мощность, чтобы мог надышаться. Здесь вводят максимальную критическую дозу обезболивающего, которое может посадить почки или остановить сердце в будущем... В будущем, которого не будет, которого они не успеют ощутить, корчась от боли. Им даже можно напоследок выпить кофе или пива,

которого они, может, не пили уже много месяцев. Уходя, они чувствуют тепло и благодарность.

При желании они могут видеть небо на потолке своей палаты. Пять палат расписали под заказ разными оттенками. У нас есть утреннее едва розовеющее небо, есть яркое, почти космически синее, еще ночное с мерцающими звездами и вечернее немного сиреневое. И, конечно же, серое с кучевыми облаками. Оно, как ни странно, пользуется большим спросом: многие хотят уходить под небом, напоминающим кому-нибудь его родную Англию или Сиэтл, а кому просто осень.

Вы знаете, что красивые картинки из космоса — они не совсем правдоподобные? Мощнейший телескоп, вращающийся вокруг Земли, передает изображение только в черно-белом цвете. А раскрашивают их специальные ученые. Они получают данные о составе веществ в этих сгустках газа и пыли, и, в соответствии с химическими элементами, окрашивают картинку. Сера — желтый, водород — голубой и так далее. Они раскрашивают для нас бесконечный, бездонный, громадный космос... А мы здесь просто раскрашиваем для людей их последнее небо.

Еще у нас у единственных есть сенсорная капсула. Японцы провели ее успешную презентацию всего пять лет назад, на выставке в Гааге. Стоила невероятных денег, но люди в ней могут уйти как будто под настоящим деревенским небом. Или под морским... Полное сенсорное погружение: влажность, звуки, визуальные образы виртуальной реальности — все то, над чем у нас трудились отдельно дизайнеры и разработчики, психологи и соцработники, подбиравшие музыку, интерьеры и освещение. У них есть все это в одной капсуле, но еще и практически идентичные натуральным ароматы.

Знаете, в одном из гневных писем, которые мы получаем регулярно, некий господин вменял нам в вину, что мы превращаем смерть в бизнес и праздник. Он приводил в пример

отрывок из рассказа Андрэ Моруа — отель «Танатос». Удивительно, но, отработав к тому времени уже лет семь в сфере эвтаназии, я не была знакома с этим рассказом. Возможно, возмущенный господин хотел нас пристыдить, однако у него получилось лишь вдохновить меня и убедить в ценности миссии. Мне запомнилась оттуда фраза: «Мы гарантируем, что вы умрете счастливыми». Увы, мы такого гарантировать не можем, однако это вектор нашего движения в работе — туда, в сторону максимального счастья, которое только возможно дать умирающему человеку.

Тогда, после похорон соседа, подслушивая долгие ежевечерние разговоры мамы с его вдовой, я думала о том, что это самое страшное — уходить так, как дядя Миша. Уходить с отчаянием, ненавистью и обидой. С тех дней, может, и начала зарождаться тоска о том, как все бессмысленно: институт, право, работа у нотариуса, деньги... Всё это и всё дальнейшее нелепо, когда невозможен достойный финал. А ведь финал может прийти намного быстрее, чем у дяди Миши, он может обозначиться уже через пять лет, год, два. Если всё может стереться и обесцениться под натиском боли и страдания — зачем тогда так много сил на ерунду...

С мамой говорить не получалось, она все вела к Богу, мол, ему виднее. Но почему Бог дает одним радость, а другим страдания, мне было не понять. Почему люди могут усыпить едва дышащую собаку или искалеченную машиной кошку, и это называется облегчить, отпустить, а с человеком так нельзя? Подобные мысли — тяжеловатый груз в восемнадцать лет. Особенно когда не с кем ими поделиться.

Наверное, в тот момент я поняла, что между верой и религией лежит пропасть. Сначала стало ужасно одиноко от этого понимания, что религия, какой-то конкретный Бог, его законы и тотемы — это у них, у масс, а вера — только у меня внутри, и мы с ней такие маленькие, одни...

Со временем это одиночество стало не таким холодным, а постепенно и вовсе сделалось своим, привычным. Когда не считаешь на какого-то абстрактного Бога, то и винить за неудачи некого, просто больше думаешь о своих поступках и принимаешь варианты, что многое может не получиться или в чем-то может не повезти, но лишь тебе нести ответственность за результаты.

*С уважением,
Элизабет Шнайдер*

Элизабет нажала кнопку «отправить» и почти сразу же пожалела об этом. Вернулась к письму, перечитала — так и есть: слишком эмоциональное, слишком открытое для абсолютно чужого человека. Странно, она годами оттачивала мастерство деловой переписки, этой неуловимой грани европейской вежливости: дать понять, что ты соперничаешь, но не суешь нос не в свое дело; деликатно обозначаешь позицию, но в то же время оставляешь возможность адресату самому делать выводы. И вот теперь так внезапно абсолютно чужому человеку выложить историю из своей юности. Наверное, виноват Маркус с этой своей просьбой, какой-то новой для нее уязвимостью перед нападками недругов.

From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com
To: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com

Уважаемый Колин!

Спасибо за ваше письмо. Прекрасно, когда человеку удается оставить столько значимого после себя. Увы, большинство из нас уходят незамеченными. Ваши труды не только спасли многие жизни, но и станут бесценным материалом для будущих поколений.

Ваш случай говорит о том, как ценна длинная жизнь, как много может дать не только молодость, но и зрелость.

Возраст — действительно ваше богатство. Жаль, что вы не замечаете этого.

*С уважением,
Элизабет Шнайдер*

...

From: Michail P. bestwriter11@yandex.ru
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Добрый день, Елизавета!

Как приятно получать ваши письма! На днях поймал себя на остром желании пообщаться с вами вживую: так много вопросов возникает, пока читаешь ваше письмо, столько поводов для мгновенного диалога. И хочется тут же спросить, воскликнуть, уточнить, дать обратную связь — живого общения хочется! Тогда я вспомнил про видеозвонки. Мы могли бы созвониться по фейстайму, я бы видел ваше лицо, замечал реакцию мимики на вопросы, вы стали бы намного объемнее для меня. Но потом...

Вы знаете, потом я представил, вот эти экранные отношения, плоские картинки, «недостаточный уровень сигнала сети», помехи, шуршания, зависания изображения и речи. И все это показалось настолько разрушительным для создания атмосферы, настолько искусственным, пластмассовым, что ли.

Мои родители растили меня по программе Монтессори. Мама искренне считала, что натуральные материалы и минимум деталей в игрушках помогают развивать фантазию, да и папа, видимо, был согласен, он вообще мало озвучивал свои возражения, мама не одобряла его недовольства.

Полагаю, что она была права про Монтессори, поскольку фантазированием я отличался знатным. Уверен, благодаря этому я и смог стать хорошим писателем: хорошим фантазером от правильного воспитания и мастером прекрасно вербализовывать

свои мысли от природы. Додумывать, что кусок деревяшки — это трансформер, как у Витьки, представлять, что у него выезжают крылья... У Витьки, моего первого школьного друга, был трансформер, который за одиннадцать движений превращался из человекообразного робота в самолет. Одиннадцать движений по инструкции:

- сложить ноги,
- защелкнуть их красной дугой,
- развернуть ступни, как у балерины,
- наклонить вперед голову до щелчка,
- прижать руки к телу,
- расправить перчатки,
- вытащить из них сигнальные огни,
- через позвоночник достать два треугольника,
- разложить их на две стороны,
- из шеи робота вытащить острый самолетный нос,
- из живота достать шасси.

И вот перед вами реактивный бомбардировщик. Я помню до сих пор все эти шаги, хотя Витька давал мне подержать свою игрушку всего раза два. Тот еще жмот. В остальное время я мог только наблюдать. На переменах. А потом повторять руками все движения со своими деревяшками.

Я не ходил в детский сад, и жили мы преимущественно по семь-восемь месяцев на даче. До школы я практически не знал, с чем играют другие дети. Мои игрушки были деревянными или картонными. Редко — железными, такие конструкторы. Потом уже в школе мама моего одноклассника с восторгом воскликнула, глядя на мой самолет для классной выставки: «У моего папы в детстве был такой конструктор! Где вы его достали? Сейчас же нигде не продают, раритет!»

Кажется, это был единственный раз, когда одноклассники посмотрели на мою игрушку с интересом. Правда, через пару

минут естественный интерес угас, но и эти пару минут дорого стоили.

Знаете, при всей отсталости и простоте моих игрушек, при всей красоте и детализированности игрушек одноклассников меня всегда отталкивал в них этот запах китайской пластмасы или дешевых красок, неизменный спутник практически всех машинок, лего, пистолетов и прочих радостей. Даже их гаджеты пахли так же. Мама замучилась со мной выбирать телефон в третьем классе, когда уже нужно было самому добираться в музыкалку. Продавцы давали нам в руки разные модели, а я их нюхал и отбраковывал одну за одной, несмотря на сочувствующие лица окружающих (наверное, думали, что я аутист).

Удивительно, как важны были для меня запахи. С годами стало чуть легче, я дифференцирую их блестяще, но это уже не мешает мне внутри них существовать, не отвлекает. А тогда, бывало, доходило до тошноты. Я с восторгом брал в руки игрушку друга, которую еще нужно было как-то выклянчить, и наслаждался ею несколько мгновений, пока вдруг не начинал как будто задыхаться. Фигурально выражаясь.

Нет, я не падал в обмороки (по крайней мере, в том возрасте и от таких мелочей), но запах этот как будто начинал нарастать, заполнять не только мои дыхательные пути, но и всю ауру вокруг. И вот я стою, как в дурмане, не зная, что лучше предпринять, игрушка неуютно замирает в моих брезгливых пальцах, а следующий ждущий одноклассник уже нетерпеливо тянет к ней свои руки. В общем, наблюдать со стороны со временем оказалось намного безопаснее и, вследствие этого, намного интереснее. Я, наверное, сумел себя приучить к этой созерцательной позиции, которая позволяет замечать намного больше. И опять же, фантазировать, фантазировать, фантазировать...

Так вот, представил я наше с вами общение по видеосвязи, и даже вдохновение улетучилось. Настолько теряется это

ощущение удивительно тонкой работы воображения: каждая строчка, каждое слово ваше я произношу с той интонацией, с какой его может произнести ваш образ в моей голове. Возможно, он ничего общего не имеет с вами настоящей, и потому еще более прекрасно так и остаться в неведении.

Будь моя воля, я писал бы вам письма от руки! Жаль только, что идут они теперь целую вечность. О, как бы вдохновляюще это было: по старинке ходить на почту, покупать марки, запечатывать конверты... У меня есть прекрасный ретронабор, дар моего литературного наставника: перьевая ручка с чернильницей и бронзовый нож для разрезания конвертов. Боюсь, нож мне не доведется опробовать, так и останется он украшением стола.

В общем, подводя итог, я все-таки против общения по видеозвонкам, уж извините. Хотя... Может быть, если вам так важно, чтобы ваш образ в книге был максимально приближен к вашей истинной личности, нам стоит подумать о варианте очных встреч. Это уже немного другое. По видеосвязи я смогу получить только какой-то осколок от общего изображения, лишь одну грань. Она вторгнется в мое воображение, уничтожит сформированный образ, а потом несчастная моя фантазия обречена будет заново адаптироваться, создавать уже новую картинку, опираясь на вот этот реалистичный обломок (голос, лицо, взгляд). А вот если бы полностью увидеть вас, погрузиться в активное наблюдение, заменить фантазийную картинку реальной... Вам, конечно, сюда, в Россию, ехать бессмысленно, да и времени наверняка нет. Но я сам мог бы вырваться, если ваша компания захочет принять меня для ознакомления с объектом моего, так сказать, литературного исследования. Было бы интересно увидеть вас в работе, всю вашу организацию, вдохнуть той самой атмосферы, проследить ваш ежедневный путь от дома до клиники, ваше любимое кафе, супермаркет, парк. Придется, конечно, уйти от изначальной концепции

свободного созидания образа на основе нескольких ваших писем и сосредоточиться на нон-фикшен-формате, но это наверняка будет более интересно и вам, и вашей компании — воссоздание максимально приближенного и подробного образа!

Так что теоретически я готов, только нужно будет обговорить детали. У меня даже виза есть годовая шенгенская, так что вам не придется мучиться с приглашениями. Только с командировочными и жильем. Хотя жить я мог бы, например, прямо у вас в клинике — там же есть кровати в палатах? Наверняка они не всегда заняты. А я мог бы прочувствовать всю атмосферу изнутри, почувствовать энергетику этих людей! Только вот больничную еду я не готов употреблять, вы уж извините. Нет, я понимаю, что у вас наверняка кормят лучше, чем в российских больницах, но все же я имею очень специфические пищевые привычки. Так что просто командировочные и билет! И я смогу написать именно такую книгу, какую вам мечтается!

*С уважением и надеждой,
Михаил Петричкин*

From: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Дорогая Элизабет!

Как вы все же молоды! Наверное, и половины моей жизни еще не прожили? А я самый старый житель Австралии. Намного старше Харбургского моста. И, кстати, живу в самом старом городе этой страны. Да-да, последние лет десять я только и делаю, что ищу с чем сравнить свою жизнь (с кем-то одушевленным, как вы понимаете, сравнить ее уже невозможно. Разве что какие-нибудь черепахи, деревья в расчет не беру, они достаточно быстро покрываются корой, так что к морщинам привыкают

практически с юности). Правда, наш город старше меня всего на каких-то сто с небольшим лет, то есть он прожил две моих жизни, как я прожил уже две ваших.

Для города годы — это развитие и процветание. Мой город растет, перестраивается, облагораживается, он наполняется новой жизнью, спешит за прогрессом. Его болезни, изъяны и поломки исправляют, вылечивают, находят пути решения для всех его проблем. Заторы и пробки — вот тебе новые дороги и скоростные поезда. Плохая экология — вот тебе велосипедные дорожки и программы озеленения. Даже если б что-то взорвали, как когда-то у наших несчастных новозеландских соседей, это наверняка восстановили бы за пару лет.

Для человека же старость сопровождается утратами и проблемами. Причем их количество увеличивается в геометрической, а не арифметической прогрессии: внешний вид, увядание, упадок сил, понимание своей ненужности и непонимание новой действительности, разрыв связей с ушедшими родственниками... И это я еще молчу про проблемы со здоровьем, которые меня, увы или к счастью, не коснулись. Вот эта настоящая старость, которая отрывает тебя от мира, начинается после девяноста и уходит только вместе со смертью.

Старику никто не скажет: «Ах, как вы похорошили за последние двадцать лет!» Так что про богатство — это вы, к сожалению, не угадали. Я беднею день ото дня, теряя постепенно все то, что имел. Лучше напишите, какие у меня шансы получить от вас положительный ответ и каковы сроки. Со сроками всегда легче.

*С уважением,
Коллин*

From: Elisabeth Shneider
To: Colin Thompson

elizabethshneider@diabco.com
colin-believeinscience@gmail.com

Уважаемый Колин!

Извините, ничего не написала о продвижении дела, поскольку пока новостей для вас нет. Мне просто хотелось написать вам. Нечасто работаешь с такими людьми, каждое письмо которых — целый рассказ.

Должна сказать, что, согласно нашему протоколу, мы обязаны узнать мнение родственников наших клиентов. В первую очередь, это касается ближайших членов семьи: родителей, сиблингов, супругов, детей. Даже в случаях с тяжелыми больными, когда именно их родные выступают заявителями на наши процедуры, все равно порой возникают тяжелые споры между родственниками, вплоть до судебных тяжб. Вы находитесь в полном сознании, как я могу судить. Однако юридически мы должны быть уверены, что никто не захочет оспорить ваше решение и никто не поставит под сомнение вашу способность принимать это решение.

Прошу прощения, мне бы не хотелось, чтобы мои вопросы вас задели. Это просто формальные процедуры, которые хоть как-то защищают нашу организацию от нападков общественности.

*С глубоким уважением,
Элизабет*

From: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Дорогая Элизабет!

Что касается упомянутых вами родственников, вы можете быть спокойны: никто не будет подавать на вас в суд, уже просто некому. Как и писал на прошлой неделе, я действительно задержался в этом мире слишком долго.

Вам, пожалуй, сложно понять, что такое оказаться настолько оторванным от тех близких людей, к которым привык.

Я нисколько не пытаюсь обвинить вас в отсутствии эмпатии, просто вы в моем представлении еще молоды и, хоть и наверняка замечаете разницу с младшим поколением, однако все равно живете в понятной вам, привычной реальности и не в состоянии примерить на себя мое мироощущение.

Я давно живу в чужом мире. Он создан по другим планам, другим идеям, другим ценностям. Это тоска и одиночество случайно попавшего в будущее. Мое окружение, все то, что было дорого, — исчезло, выветрилось из памяти живущих ныне. В науке я, конечно, счастлив наблюдать то, как далеко продвинулись исследования, как много ученые смежных отраслей научились делать благодаря моим разработкам. Но в другой, обычной жизни все это развитие и прогресс больше меня не интригуют.

Моему активному желанию уйти лет двенадцать так точно. Моя жена, Меган, отдыхает от этой жизни уже четверть века. Она была старше на четыре года и ушла спокойно, во сне, как мечтается любому старику. Любому обычному старику (мне-то теперь мечтается уйти каким угодно способом). Заметьте, я продержался первый десяток лет без нее достаточно стойко. Так что мое нынешнее желание — это не горестный порыв любящего всю жизнь мужчины последовать за своей супругой. Я справлялся. Конечно, были грусть и одиночество. Но я в тот момент был уверен, что скоро последую за ней, что мне просто нужно завершить здесь что-то. Я заканчивал наши с ней общие дела, переоформлял счета, распределял будущее нехитрое наследство, отправил что-то на благотворительность.

Сложнее всего было с горшками. Меган всю жизнь лепила и разрисовывала цветочные горшки. Когда-то она хотела сделать это своей работой. Но, между нами говоря, качество изделий было такое, что даже регулярно одариваемые ими наши друзья могли лишь ставить в них самые густо разрастающиеся цветы на заднем дворе.

Однако я поставил себе цель: пристроить все произведения, которые успею. Девяносто шесть цветных горшков и вазонов ручной работы. Это был труд, я вам скажу, сопоставимый с культивированием вируса черной оспы! Я не торопился, полагая, что моя смерть будет вполне достойным оправданием незавершенности планов. Однако к концу второго года одинокой жизни я распродал все, сохранив лишь два самых неказистых, чтобы их поставили на наших могилах.

К слову о могилах, вообще-то я категорически против этих немыслимых древних обрядов погребений дряхлого тела, еще и упакованного в деревянный футляр, замедляющий разложение. Мертвые тела бывают опаснее живых — уж этого-то я наблюдал в Африке. Скольких усилий порой стоило медикам уговорить местных, чтобы они сжигали трупы во спасение живых! Но мы-то считаем себя продвинутыми цивилизациями — и туда же. Похоронить, еще и всем несчастным живым предложить напоследок поцеловать холодное тело, как в отместку, что ли, за то, что они пока остаются на земле: нате, прикоснитесь к загробному миру.

Мы и так зарываем в нашу несчастную планету миллиарды тонн мусора! И вот ведь, еще и поверхность ее занимаем нескончаемыми надгробиями. А нас ведь шесть миллиардов. То есть лет за восемьдесят на поверхности Земли будет дополнительно занято 12 миллиардов квадратных метров! То есть двенадцать тысяч квадратных километров! Это, между прочим, четверть всей вашей Швейцарии. Можете себе представить: четвертая часть вашей страны — могилы умерших только за последние сто лет?

В общем, как я уже говорил, я был категорически против этих варварских ритуалов. Меган, моя супруга, пару раз заикалась о том, что хотела бы быть похороненной рядом со мной. Я ей ничего не обещал, но когда она ушла, начал подумывать над тем, чтобы уважить ее просьбу. Не очень-то я много ее

просьб успел выполнить при жизни. Скорее, она делала для меня больше: была и моим заместителем, и секретарем и вообще, кем только не была. И вот, скрепя сердце, я обдумывал возможное захоронение моих останков, но вся моя субличность ученого, естественно, негодовала. И тогда эти два самых неудачных кривоватых горшка показали мне прекрасной возможностью продемонстрировать свое истинное отношение к могилам и кладбищам. Ведь тела умерших и правда, как такие горшки, — не функциональные, некрасивые, но их не выбрасывают, а как-то виновато впихивают в землю, чтобы и не видеть, и в то же время куда-то пристроить. Так что я оставил их, чтобы их поставили на наших могилах. Или на ее могиле оба (если я все-таки предпочту кремацию). Вот так вот будут стоять, прицементированные к плите, с какой-нибудь едкой подписью, чтобы люди, проходя мимо, могли улыбнуться.

И вот представьте, я выполнил сверхмиссию по пристроюству девяноста четырех цветочных горшков и... Так и остался жить! Смерть не забирала меня, и все продолжалось без каких-либо намеков на скорый финал. Я следил за собой, чтобы не вызывать раздражение окружающих, работал. Соцслужбы выделили мне женщину, которая приходила убирать каждую неделю. И вторую, которая готовила мне каждые четыре дня. Филиппинку. Сначала я хотел отказаться от нее, но спустя неделю распробовал ее стряпню, и оказалось, что что-то еще может приносить мне краткосрочную радость.

В общем, физически справляться вполне удавалось. Поначалу тосковал и ждал, когда же мое время придет. Иногда утром подолгу не открывал глаза, рассчитывая, что может уже и не в постели очнусь. Эта игра затянулась, и пришлось себя одергивать. Помните, как в детстве: если чего-то сильно ждать, то время начинает идти медленнее, ожидание становится тягостным. Так что я решил, что не надо зацикливаться, надо как-то жить и стараться сосредоточиться на других вещах: работа,

наука, чтение, кино, какая-то элементарная работа в саду. Постепенно я свыкся и начал стараться замечать что-то хорошее в каждом дне. Правда, в основном это все равно касалось области моих исследований. Я даже снова взялся за докторантов, курировал молодых специалистов с самыми интересными темами. И так я продержался около десяти лет.

Прошу прощения, мне кажется, я заболтался.

Лучше напишите, как там у вас? Я тут смотрел ваш прогноз, представлял себе ваше туманное спокойное небо. Как же уже хочется покоя.

*С уважением,
Колин*

From: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Добрый день, дорогая Элизабет!

Да, я не дописал, думал вы и так поймете, вам наверняка таких историй, как моя, рассказывали сотни. Да и мне просто показалось, что я слишком погрузился в свои воспоминания. А вам наверняка есть чем заняться, кроме как читать письма старика с другого конца света. Но раз уж вам интересно, то могу рассказать и дальше. Хотя дальше все достаточно логично. Со временем мне стало скучно. Настолько скучно, что это даже в фильмах сложно передать. Мне было не с кем пошутить, пошутить о понятном. Даже коллег, с которыми мы стояли у истоков создания вирусной лаборатории, уже не осталось. Мне приятно почтение, с которым со мной общаются все те, кто считается в нашем университете уже древними стариками (эти восьмидесятилетние юнцы! Да я еще полвека назад десятками их рубил на конференциях, подлавливая на очередных неполноценных выборках в исследованиях!). Иногда хочется,

черт возьми, с кем-нибудь подурачиться, поспорить так, как лет шестьдесят назад, чтобы рвать бумаги, развязывать в гневе галстуки, угрожать переводом в Мельбурн или обзывать их советскими шпионами. Ох, бывало время!

Сейчас же, даже если я скажу полную ересь, ректор университета улыбнется мне, предложит это обсудить. Конечно, за спиной они могут расстроиться или возликовать, дескать, добрался маразм и до нашего динозавра. Но спорить, спорить они со мной не станут, понимаете? Они все будут жалеть и опекать, беречь.

Бывает, раз в году доберется какой-нибудь свеженький паренек до меня, начнет дискутировать, хоть и взвешивая каждое слово. Но обязательно найдется кто-то в лаборатории, кто на него шикнет, в сторону отведет, нотации прочтет. И все, в лучшем случае ходит этот паренек потом кланяется мне у каждой двери, а в худшем — его в другую лабораторию переведут, как ненадежного. Скучно.

Для меня стерилизовали окружение. Это снаружи в обычном мире считают, что ученые — какой-то особый подвид, интересующиеся только наукой, эдакие аутисты, заикленные на своем внутреннем мире. Знали бы вы, какие страсти кипят и в нашем муравейнике! На первом месте воровство. Причем воровство гениального уровня. Высший пилотаж — своровать идею и при этом не стать изгоем среди своих. Да-да, украсть и перебежать в другую страну может каждый, это для ученого не задача. А вот украсть идею и прямо тут модифицировать в этом же сообществе, выдать за свою так, что не подкопаешься... Расскажу вам как-нибудь при встрече пару забавных историй. (Я ведь уверен, что мы встретимся с вами на просторах старушки Европы.)

Пять лет назад ушел мой хоть и приемный, но горячо любимый сын. Ребенок Мэган от первого брака. Ему было восемь, когда я окончательно смог оформить все бумаги. Знаете, он

плакал от радости, когда нам пришли документы. Не уверен, что я был прекрасным отцом, но я действительно его любил. И он тоже ушел мирно, как его мать, в домашней постели через два с половиной года после того, как увидел свою правнучку. И тогда мне просто стало обидно. Не за него, что он умер — нет, он ушел вполне вовремя. Мне стало обидно за себя: почему я все еще должен тут сидеть?! Проживать эти одинаковые будни, продолжать этот абсолютно ничем не наполненный процесс.

Вокруг меня давно нет ничего, что было бы интересным. Ничто больше не трогает. Как будто за матовым стеклом что-то происходит, но мне не видно, слишком мутно.

Я хочу уйти. В конце концов, я уже достаточно натрудился.

Ваш Колин

ГЛАВА 3

— Как там этот русский писатель? Что-то продвигается с книгой?

— Честно говоря, он странный.

Маркус вопросительно взглянул, отрезая дальний от себя кусочек стейка. Они обедали на террасе брюссельского кафе, подальше от других участников Европейской конференции по вопросам сопровождения клиентов с терминальными стадиями заболеваний. Не хотелось ни с кем поддерживать деловые разговоры. Еще в их первый, почти пятнадцать лет назад, ужин она обратила внимание на безупречность манер Маркуса за столом, несколько удивившись такому будто бы показушному знанию этикета. С годами же она получила возможность убедиться в неизменной священности трапезного процесса для ее шефа. Никаких перекусов на ходу, бизнес-ланчей, готовых обедов навынос. Всегда основательное место, бокал хорошего вина или пива, полноценный набор закуска-горячее-десерт.

Перед ней дымился котелок с мидиями. Маркус моллюсков не любил, предоставляя ей самостоятельно наслаждаться гигантской порцией.

— На каждое мое письмо он отвечает двумя-тремя своими, причем не с уточняющими вопросами, а с историями собственной жизни. Как будто это я про него роман пишу.

— Думаю, это интересный проект. — Маркус рассеянно улыбнулся, а потом как будто о чем-то вспомнил. — Давно хотел у тебя спросить. Скажи, а как ты относишься к абортам?

— Как и к тюрьмам, — кому-то она уже отвечала на этот вопрос ровно так же, только кому...

— Серьезно?

— Вполне. — Они столь же естественны и логичны, как некое следствие из того, что происходит в жизни. До тех пор, пока есть мужчины, не умеющие удержать свой пенис в штанах, мы не можем отказать изнасилованной женщине в возможности не рожать от подобных уродов.

Вид Маркуса был столь озадаченным, что она осеклась. Вопрос ли это для свободной дискуссии или же касающийся его лично? Он так внезапно и не к месту спросил, она так же быстро ответила... Не стоило так категорично... Жена? Вряд ли, ей уже пятьдесят... Любовница? Нет, это не про шефа. Столько лет Элизабет была рядом, она бы заметила. В конце концов, она сама была рядом все эти годы, и если бы он только хотел... Но никогда ведь и не воспользовался. Ей стало даже неловко за резкость. Да и ее осуждение грубых мужчин... Как бы он не принял это на свой счет в плане запрета на инициативу... Ведь когда-то она ждала... Возможно, кто-то другой и дождался. Что ж. Ее время ушло. Просто так сложилось.

— Ты знаешь, я, конечно, не имел в виду этот аспект. Я скорее про массовые случаи. А массовые — они, сама понимаешь, обычно про блажь или дурость.

— Да? Они, что ли, опросник о причинах аборта заполняют: изнасилование или тупость?

— Прости, я, кажется, тебя задел, приношу свои извинения.

— Да нет, Маркус, не в смысле личного, — она уже начинала злиться, что так бурно реагирует, и шеф еще надумает себе. — Просто этот подход раздражает — про некое общедоступное знание... Будто общество лучше знает, как там на самом деле.

Мидии были прекрасно приготовлены, и от ее слишком резких раздраженных движений створки раковин трескались, разбрызгивая соус. Маркус деликатно молчал, и ей пришлось самой искать выход. Засмеивание было лучшей броней.

— Чему ты улыбаешься?

— Да вспомнила случай. Когда я работала на корабле-гопитале, мы остановились возле какой-то типичной захолустной деревни. Не помню, кажется, побережье Мадагаскара... Неважно. В общем, больницы своей там не было, все поднимались к нам на борт. Среди прочих там была девочка, совсем подросток с огромным животом. Пока она сидела в очереди, мы разговорились. Я как раз подумала, что она из подобных жертв насилия. А она мне с такой искренней улыбкой: я просто забыла подмыться. Я думала, шутит! А нет, она от души. Оказывается, секс был по обоюдному согласию, но она искренне считала, что достаточно было подмыться после него, чтобы не забеременеть! Ты можешь себе представить? И ведь уверяла меня, что за три года половой жизни своевременное мытье никогда не подводило! Она, конечно, с задержкой развития, хотя на фоне их деревни сразу и не заметишь. Она, кстати, не за абортом пришла, их у нас не делали. У нее была какая-то опухоль за ухом.

— Это и правда интересно. Не то, что она забеременела, конечно, а то, что ты сразу решила, что это насилие.

— Я решила, что это инцест, Маркус. Знаешь, я из страны, где это слово и произносить-то боятся. У нас вообще всегда

боятся лишнего сказать. Эдакий культ тайны. О плохом молчи — не выноси на люди, неприлично; о хорошем тоже молчи, а то позавидуют, отнимут; о планах тем более молчи — сглазят. Особенно про сглазят — мне кажется, это помощнее африканских тотемных верований. А чем закрытее общество, тем больше в нем страшных тайн.

— Пожалуй. Аборты у вас тоже запрещены?

— Нет, как ни странно. Кажется, нет. В любой частной гинекологии все сделают. Особенно в крупных городах — думаю, туда и несовершеннолетних принимают, хотя, кто знает, может, сейчас все стало совсем сурово, ты же знаешь, я уже давно там не была; можно спросить у этого писателя, если тебе интересно.

— Можно. Но все-таки, если вернуться к теме абортов просто по неосторожности, юности, глупости. Как бы ты видела варианты помощи, как их отговорить?

— Помощь нужна тогда, когда еще никого не нужно отговаривать. По-моему, единственный вариант — бесплатные презервативы, как в Малави. Они у них там в магазине лежат в картонных коробках у входа: бери не хочу. А то кричим всему миру, что мы цивилизованная Европа, а пачка Durex стоит дороже, чем бутылка пива.

— Анетт, моя старшая, поделилась, что не может забеременеть. Оказывается, она делала аборт два года назад. Конечно, врачи говорят, что это не связано, аборт был просто медикаментозный. Но меня расстроила сама мысль, что она его делала, понимаешь? Я мог бы быть сейчас дедом... И главное, она тогда была уже в браке. Почему-то решила не рожать.

Это звучало так по-русски, что Элизабет показалось, будто она говорит сейчас со своим дедушкой, как когда-то по скайпу с десятичасовой разницей во времени. Дед ей про ожидание правнуков, она — про калифорнийскую погоду, необъятных толстяков, резиновые котлеты по доллару за килограмм, дома из прессованной соломы.

Америка для нее началась, как для большинства — work & travel на летнюю подработку. В принципе ей повезло: с первого раза девчонок обычно отправляли посуду мыть в какой-нибудь детский лагерь. Весь день с согнутой спиной, драить заплывающие тарелки. Она же хоть и тоже стояла по шесть часов, но вполне себе прямо, даже пританцовывая, а главное — в костюме Дональда Дака. Парк самых крутых в мире американских горок Six Flags — вот он, символ молодости и абсолютного счастья.

Вообще, единственная мысль, которая тогда навязчиво не отлипала, — не хочется больше домой. Не хочется рутины, не хочется дебильных митингов и закручивающихся гаек закона, не хочется бесконечной давки в метро и обозленных рвачей из провинции, не хочется шесть месяцев зимы и сорок лет унылой работы. В семье считали все это абсурдом, в семье чтит историю и культуру: следили за чистотой языка, нелестно отзывались о понаехавших, категорически осуждали смешанные браки. Мама сказала, что не будет отговаривать дочь, если та захочет выйти замуж за негра, она просто по-тихому выпьет яду, и «это вовсе не манипуляция, каждый имеет право на свой выбор». Только дед относился спокойно к идее эмиграции: мол, неважно, где ты, главное — оставаться человеком.

На следующий год с работой не повезло: отправили на какую-то ферму. Но до фермы она не добралась, осталась на промежуточной остановке — в Чикаго. На первое время были накопленные деньги, а дальше понеслось. Знакомство с русскими девчонками, квартирка на пятерых, заработок официанткой больше, чем в России помощником нотариуса. А потом вдруг нарисовался стриптиз-клуб. Все временно, но такие гонорары в двадцать лет затягивают, уже не оторваться.

Потом брак с австрийцем. И еженедельные разговоры с дедом по скайпу... Про то, как он ждет не дожидается правнуков, про семейное счастье, про будущие поколения... И не объяснить ему было, что австриец взял ее в жены в обмен на десять тысяч,

поскольку имеет американский паспорт, который получил за такие же десять тысяч в браке с толстой сорокапятилетней пуэрториканкой. И что детей без секса не бывает, а австриец вообще не по женской части.

Во время таких бесед она чувствовала и грусть, и досаду на наше русское устройство семей: почему родители не могут отпустить выросших детей, почему постоянно навязывают свои модели, почему, наконец, эти самые дети, как и она, не могут жестко отстоять свое мнение, а вынуждены все время юлить и лукавить, лишь бы не расстраивать родных, не провоцировать очередные нравоучительные разговоры.

И вот теперь Маркус, тот самый пример европейского благоразумия, сдержанности и ненавязчивости, вздыхает, как типичный русский отец взрослой дочери где-же-внуки-часики-то-тикают. Так странно. С ним и правда что-то случилось...

From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com
To: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com

Дорогой Колин!

Давно я не читала таких писем. Ваши истории так и просятся в книгу. Не думали ли вы когда-нибудь оставить о себе мемуары? Ведь помимо вашей научной деятельности, вы могли бы поделиться с будущими поколениями этим уникальным опытом выстраивания отношений, любви, дружбы, пронесенной через десятилетия.

И это стекло. Ведь если вам не видно, это не значит, что за ним неинтересно. Может быть, просто стоит попытаться разглядеть? Вы же ученый, любопытство наверняка подтолкнуло вас к новым открытиям.

*С уважением,
Элизабет*

From: Colin Thompson colin-believeinscience@gmail.com
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Дорогая Элизабет!

Стекло... Стекло интригует, когда у тебя есть жажда открытий, когда тебе хочется что-то познать.

Когда-то в юности матовое оконное стекло, отделявшее меня от женской душевой в университетском бассейне, вызывало массу фантазий и возбуждения. Вы извините меня, старика, если я могу быть слишком прямолинеен. Почему-то мне кажется, с вами можно говорить открыто. Да и я слишком безобиден в своей старости, чтобы быть обвиненным в домогательствах или как там это сейчас называется, когда нормальный мужчина интересуется женщиной.

То окно выходило на задний двор, усаженный низкорослыми кустарниками. Только хорошо изучив схему, можно было понять, с какого закутка просматривается женская раздевалка. Мой тогдашний друг, а впоследствии жалкий перебежчик, Мартин как-то подкинул мне мысль насчет получения дозы эстетического удовольствия. Это вам не семидесятые, тогда еще не в ходу были порножурналы, а интерес к запретному переполнял первокурсников даже биологического факультета.

Для начала я вообще сомневался, что окно у них есть. Глупо, его же все равно нужно завешивать. Но Мартин при всем своем скудном умишке был уверен, что солнечный свет не станут выбрасывать в никуда только лишь из этических соображений.

Не знаю, как там у вас в Цюрихе, кажется, так же пасмурно, как в Париже, но у нас солнца много. Даже зимой в июле +15 и выше. Все университеты, как невыгодные с экономической точки зрения учреждения (что могли принести они своей стране, в отличие от фабрик или судов?), строились в начале двадцатого века с расчетом на максимальное использование внешних ресурсов. Грубо говоря, отопления у нас не было.

Не заслужили. Потому аудитории сплошь стеклянные, до последнего апрельского солнышка мы наслаждались нашим южнополушарным летом.

Мартин выведаль про окно у одной из уборщиц. Он уже тогда умел вводить людей в заблуждение, что в принципе помогло этому проныре сбежать в Гарвард с полудюжиной наших мощнейших исследований, в том числе по ВИЧ, тогда еще почти никому не известному. Так вот перед уборщицей Мартин разыграл невротика:

— Как вы здесь работаете? В мужской раздевалке вчера выключили электричество, так я чуть не разбил себе голову! А ведь там скользко, да и темно вдобавок. Нашему деканату стоит внимательнее заботиться о сотрудниках и студентах, не правда ли?

Растерявшаяся дама, которая, естественно, в мужской раздевалке никогда не бывала, оказалась в своем ответе крайне неосторожна:

— Так ведь окна же есть, разве в мужской нету? Вечерами выключают часто, мне хватает сумеречного света из окон. Раньше никто не жаловался...

Фыркнувший Мартин изобразил негодование и в тот же вечер мы уже разбирались в бесконечных коридорах и хозяйственных дворах университета. Мне не довелось учиться в песчаном университете, там-то найти легко, все построено по принципу Гарварда. Ах, вы же не из Австралии! Песчаные — это такое название для самых старых и престижных университетов Австралии. Их тогда строили из песчаника. Правда, в них и бассейнов никто не предусматривал. Могли ли они представить, что будет на территории учебных святынь через пару веков...

Так вот наш был из современных! При строительстве бассейна учитывали тот же экономический принцип: максимум естественного света и тепла. Горе-инженеры и в раздевалке

сделали оконные проемы от пола до потолка. Однако окна не занавесили, а сумели заматировать стекло. Тени все равно видны, для чего, полагаю, и были посажены кустарники вечно-зеленой банксии с пестрыми свечками ярких соцветий практически вплотную к месту прекрасного. Хотя уверен, 99% студентов даже и не догадываются отправиться искать точку дозора. Разве что такие безнадежные идиоты, как мы.

Так вот это стекло... Понимаете, будь оно прозрачным, наверное, эффект был бы слабее. А тогда эти силуэты... Можно было не спать всю неделю после одного сеанса!

Когда ты юн и не знаешь жизни, ты ошеломительно богат! У тебя есть фантазия и нет никаких преград! О боги, я даже сейчас и вспомнить не сумею, чего мог нафантазировать в свои двадцать! Помню только это ощущение всемогущества, величия, неумолимого счастья и распирающей силы.

Увы, с годами мы беднеем. Чем больше узнаешь о мире, тем меньше пространства для фантазии. И вот сейчас это матовое стекло, отделяющее меня от бурного наполненного мира, больше не интригует. Мне даже тени не интересны, не то что достраивать образы. Мне просто больше не интересно...

Как там с продвижением моего дела? Есть ли хорошие новости? Кажется, я достаточно написал вам, чтобы вы могли составить представление о безусловной добровольности и искренности моего желания. Спонсирую это недешевое, как вам известно, мероприятие исключительно я сам. Возможно, мои юные правнуки предпочли бы на эти деньги сгонять в Европу, но уж предоставлю им возможность самим осчастливить себя заработком на первое путешествие.

Хотел бы я завещать свое тело для донорства, но, увы, мои органы уже не считаются трансплантационным материалом. Эту машину, отлично отслужившую мне больше века, нельзя разобрать на детали, можно лишь утилизировать. Потому я, безусловно, подхожу под вашу программу и даже не могу быть

наречен эгоистом, не желающим напоследок поделиться тем, что ему не нужно.

*С теплотой и надеждой,
Ваш Колин Томпсон*

...

From: Michail P. bestwriter111@yandex.ru
To: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

Елизавета, здравствуйте!

Как ваши дела? Знаете, хотел поделиться с вами очень важной новостью. Сегодня мне пришло сообщение от моего астролога. Я вам его прямо скопирую (все-таки, с другой стороны, хорошо, что есть электронная почта, а то пришлось бы, например, от руки вам это все переписывать).

Михаил, сегодняшнее письмо особенное!

Апрель начался, и совсем скоро Вы войдете в его самый важный и перспективный для себя период, который откроет Вам целую плеяду новых возможностей и шансов. Одно только это — уже большая удача, но главное здесь то, что на Вашу «апрельскую горку» придутся еще и так называемые ДНИ ГЕКАТЫ!

И вот они делают предстоящий период по-настоящему ОСОБЕННЫМ!

Поскорее прочтите мое письмо — я расскажу Вам про Дни Гекаты!

*С любовью,
Алевтина Икура,
Ваш персональный астролог*

Не подумайте, я не из тех экзотнофриков, которые живут только различными предсказаниями и шаманскими обрядами. Но я, как человек творческий, стараюсь сохранять интерес

к познанию всех аспектов мира. Не стоит отгораживаться от знаков Вселенной, кто знает, для чего они нам посылаются.

Сначала я подумал, что это очередная разводка. Но все-таки что-то меня зацепило. И я, конечно, нажал на ссылку и оплатил, ибо потратить 5 евро совсем уж ерунда, если есть шанс услышать что-то значимое. И вот что я получил.

Михаил, я рада возможности раскрыть Вам последнюю тайну апреля!

И речь здесь не об обычных планетарных аспектах и даже не о влиянии далеких звезд. Дни Гекаты — это период, когда астероид Геката последовательно сформирует серию аспектов с Плутоном, Меркурием, Венерой, Луной и Сатурном. Причем имя древнегреческой богини, способной без всяких преград преодолевать границу между светом и тьмой, добром и злом или жизнью и смертью, этот астероид заслужил совсем не случайно.

Он способен делать почти то же самое, а потому каждый его «контакт» с планетой в Вашем гороскопе — это локальный, и даже не всегда локальный, взрыв. Вопрос в том, можно ли сделать эти взрывы направленными — и как не допустить, чтобы они нанесли Вам вред, вызвав дополнительные разрушения и многократно усилив и без того невероятно напряженный и во многом поворотный для Вас апрель. В общем, как защититься и научиться управлять?

Предлагаю детально в этом разобраться — закажите персональную консультацию!

Теперь понимаете? С точки зрения языка написано, конечно же, убого. Уж не знаю, предложить ей свою помощь, что ли, надо же уметь формулировать свои мысли, тем более если несешь людям такую информацию. Однако содержание все же важнее. Я полагаю, что мой кризис точно имеет какое-то внешнее вмешательство. Кризис творческий и вообще. Меня практически

перестали куда-либо приглашать. С трудом пишу небольшие (впрочем, все равно очень хорошие) новые тексты, так их еще и никуда не берут.

Надеюсь, что книга о вас станет моим новым витком. Жду с нетерпением любой информации от вас.

*С уважением,
Михаил*

...

Она сидела перед компьютером и машинально крутила пальцами лампадку с ароматическим маслом. Иланг-иланг сегодня нехстати расслаблял. На экране соблазняяще мигал новый фильм «В поисках планет, пригодных для жизни», но она дала себе слово — не больше двух видео за день, на сегодня лимит исчерпан.

Что ответить профессору? Старик прекрасен. Не хочется его огорчать. Однако как он пишет! Может ли так писать человек, которому ничего не интересно? Точнее так: может ли заинтересовать читателя рассказ, автор которого сам не получает удовольствия от своей истории...

А вот этот Петричкин, кажется, самого себя даже вряд ли заинтересовал бы в качестве героя. Переписка с ним утомляла, его попытки навязать ей свои истории раздражали. Хотелось урезать их общение, просто передавать ему информацию и не слышать в ответ ничего.

From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diab.com
To: Michail P. bestwriter111@yandex.ru

Думаете, они говорят о чем-то великом и драматичном, обязательно плачут или ругают Бога? В большинстве своем нет. Они очень долго все это обдумывали, о многом говорили со своими родными, лечащими врачами. У нас ведь был такой пункт

в договоре еще лет пять назад — желающий уйти должен находиться в длительном контакте со своим лечащим врачом, который в свою очередь и дает одобрение на процедуру. Эти врачи, наверное, за годы работы наслушались историй на несколько многотомников. Нам же остаются лишь заключительные речи.

И в конце люди рассказывают о разном, совсем о разном, как бы парадоксально для вас это ни звучало. Они порой так долго идут к этому дню, что он воспринимается как радость, облегчение, как бы это ни звучало для вас. Был у нас пациент, основавший крупнейшую фабрику презервативов, думаю, она и в России представлена. А в юности он работал на одной из таких фабрик лаборантом, отвечал за проверку качества. Он должен был наполнять презервативы водой, ждать, пока они высохнут, а затем катать их по специальным салфеткам и проверять, не остается ли следов. Он рассказывал все это с улыбкой, говорил, что до сих пор помнит эти круговые движения — все-таки четыре года стажа. «На вопрос окружающих, кем я работаю, я мог ответить только после длительного знакомства, понимаете? И вот на первом свидании девушка задает тебе этот самый вопрос. А ты представляешь, как рассказываешь ей, мол, я целый день катаю презервативы с водой, и глаза ее округляются, она вся краснеет и убегает. Смешно, честное слово, приходилось врать».

Когда он рассказывал, он хохотал в голос, активно жестикулируя. Да, это то, что он рассказывал нам в день ухода.

From: Martha martha-ingodwetrust@gmail.com

To: Client-service diab-clients@diabco.com

Уважаемые сотрудники компании «Диаб»!

Пишу вам «уважаемые», поскольку привыкла писать с соблюдением всех приличий, однако в действительности же ни ваша организация, ни ваши идеи не вызывают у меня не только уважения, но даже понимания. Я коренная жительница

нашего города, уже в шестом поколении. Моя страна и мой город всегда вызывали у меня чувство гордости и здорового патриотизма. На протяжении первых тридцати лет моей жизни к нам приезжали туристы с прекрасными целями: наслаждаться пейзажами, посетить наши знаменитые сыроварни и шоколадные производства, арендовать машину, чтобы прокатиться по пригородам. Мы всегда отличались высоким уровнем жизни. К нам приезжали люди обеспеченные и в большинстве своем культурные. Наше правительство не торопилось инвестировать в туристическую отрасль, за что им огромное спасибо. У нас хватает доходов и от более надежных источников. Благодаря жесткому отбору кандидатов и несопоставимым с другими странами Европы условиям выдачи гражданства, наша страна не провалилась в черный иммигрантский кризис, сохранив свое достоинство, традиции и культуру в девственно чистом виде.

Я с гордостью живу в своей стране, исправно плачу налоги, рожаю и воспитываю детей. В благодарность за это мое государство на протяжении долгих лет поддерживало меня и мою семью, давало мне ощущение стабильности, уверенности в будущем моих детей.

И вот мою страну, похожую на открытках на сказочный мир, вдруг начинают наполнять люди-убийцы и люди-самоубийцы. На самолетах и поездах к нам начинают стекаться толпы еретиков! Влекомые такими же еретиками-бизнесменами! Наша страна никогда не продавалась туризму, не бежала за легкими деньгами: напротив, всегда с осторожностью принимая гостей. И вот приходите вы и решаете создать новый вид туризма, причем уникальный — для самоубийц! Вереницами они проходят по нашим улицам, поселяются в наших отелях, а потом в деревянных футлярах едут мимо наших домов!

Кто за вами стоит, я вас спрашиваю?! Уверена, что не коренные швейцарцы. У наших предков хватило мудрости уклониться

от черной тьмы Второй мировой войны! Хотя куда вам знать, вы же наверняка не местные и получили гражданство без прохождения теста, каким-нибудь окольным путем, каким и сумели пролоббировать всю вашу организацию. Так вот вы хуже чумы и нацистов!

Кем вы себя возомнили? Рукой Бога, имеющей право вершить судьбы? Кто за вами стоит? Свидетели Иеговы или сатанисты? Саентологи? Бог один решает, когда и кто должен уйти. Неужели вы не осознаете, что вмешиваетесь в его Волю?!

Или вами руководят русские? Это похоже на их манеру — придумать бизнес из ничего и грести деньги миллионами, невзирая на все законы природы и человечества! Да еще и при этом прикрываться идеями гуманизма! Постепенно отхватываете наши территории, незаметно, так что с этой стороны не придерешься. Люди просто не выдерживают напряжения и все больше избегают посещения ваших районов. Потом они начнут съезжать из своих домов, сдавать их вот таким дельцам, как вы, и вся наша страна превратится в ваш полигон!

Одумайтесь! Что вы творите? Уж если вас не страшит Высший Суд, то что вы вытворяете с нашей землей? Что теперь будут рисовать на наших открытках рядом с пышными коровами и сырными погребками — катафалки и гробы?

Вы — позор моей страны! Жалкая горстка хапуг. Мы будем бороться с вами и вашей сатанистской идеей. Вы не Diab-co, вы — Diablo! Истинные посланники преисподней!

*Без уважения,
швейцарская Маргарет Тэтчер*

ГЛАВА 4

— Теперь директором будет Хернхоф. Хотел тебя предупредить, чтобы сегодняшнее собрание не стало сюрпризом. — Маркус сиял так, будто рассказывал о выигрыше в лотерею. Он вертел,

любуюсь, тарелку с десертом. Сегодня это был муссовый торт из манго и маракуйи с шоколадной виньеткой и несколькими каплями карамельного соуса. — Вижу, ты немного ошарашена, как я и предполагал. Значит, правильно, что предупредил, а то ты совсем растерялась бы.

— Да, мягко говоря, я удивлена. Спасибо, а кто уже знает?

— Из персонала никто. Кроме самого Хернхофа, конечно, и совета учредителей. — Он недовольно посмотрел на ложку, но, вопреки привычке, требовать десертную вилку не стал.

— Ты будешь работать под его началом? Почему он? Ты всегда говорил, что он из безумцев.

— Да, но на безумцах и держится наш мир.

— А какие обязанности будут теперь у тебя?

— У меня... Устраивать судьбы несчастных не подмывшихся после секса девушек, чтобы им не пришлось отказываться от материнства! — Маркус отломил неприлично большой кусочек торта и отправил ложку в рот.

Официант поставил перед ней креманку со свежими ягодами. Клубника без единого пятнышка, ровные, как по трафарету шарики черники, почти восковая в своей упругости малина.

— Собираешься заняться неблагополучными подростками?

— Мелко берешь. Видимо, наша работа тоже дает профдеформацию, мы начинаем как-то узко мыслить, не думаешь? — Он поглощал очередной кусочек, неспешно собирая с тарелки карамельный соус. — Меня пригласили возглавить Фонд противодействия абортам. Они получили хорошее финансирование от Европейского совета и планируют серьезно расширить свою деятельность. — Очередной кусочек оставил следы на его губах. Маркус неспешно отер рот салфеткой. — Им нужны свежие идеи, новое видение. Хотят открыть кабинеты в каждой крупной больнице Евросоюза, чтобы успевать перехватывать идущих на аборт женщин, проводить консультации и предлагать им альтернативу. Точнее, помощь в случае отказа от аборта.

— А почему не руками?

— Что, прости?

— Мне показалось, что ты мог бы запихнуть в себя весь кусок прямо руками.

— Расстроена? — Маркус улыбнулся так искренне, что ей захотелось размазать этот торт по его сиреневой рубашке. — А еще я рассчитываю наконец примерить обязанности деда. У Анетт срок девятая неделя, прислала вчера фото первого УЗИ!

...

— Присаживайтесь, Элизабет. Я ведь могу к вам обращаться по имени, как и раньше?

Йозеф Хернхоф смотрелся в кресле Маркуса совсем непривычно. Сухопарый, подвижный, нетерпеливый. Он как будто никак не мог успокоиться в этом мягком бесформенном пространстве. Уловив ее взгляд, смущенно улыбнулся.

— Надо бы мне здесь сменить мебель, подчиненным будет проще воспринимать нового директора в свежих декорациях. Хотя не считаю адекватным тратить безумные деньги на регулярный ремонт, как у нас было заведено. Надо сделать один раз и надолго. Сегодня мой первый официальный день в новой роли, и мне хотелось бы сразу наметить определенный вектор работы. Думаю, вы в курсе, почему Маркус ушел?

Элизабет нехотя присела на край кресла, поняв, что разговор затянется:

— Да, он решил сменить сферу деятельности.

— Бросьте, я, конечно же, не это имею в виду. Хотя для меня такой его выбор новой работы выглядит дико: я, как и вы, приверженец концепции чайлд-фри. Но дело не в новой работе Маркуса, а в том, что инвесторы поставили более жесткие условия. Наш бизнес перестал развиваться.

Хернхоф выжидал паузу, но Элизабет молчала. Сегодня утром, рассеянно разглядывая себя в зеркале, она решила

придерживаться позиции выжидания. Просто слушать и наблюдать. Хернхоф, не показывая, что он разочарован ее молчанием, продолжил:

— Вы же понимаете, что мы, как и любой бизнес, должны развиваться, иначе зачем кому-то вкладывать в нас деньги. И в принципе мы должны расти хотя бы потому, что рождаемость в мире набирает неконтролируемые обороты, чему теперь и будет способствовать наш Маркус, ну да это уже его ответственность, соответственно, чисто математически количество наших клиентов должно расти на 10–15% в год.

«Наш Маркус» резануло ей слух. За эти пару недель Элизабет так и не смогла определить, какое место теперь хочется отвести бывшему шефу. Как много ролей рядом с ним примеряла она для себя вживую и в своих фантазиях. Подчиненная, коллега, помощник, друг, любовница, жена... Теперь же кто она в его жизни? Маркус сказал, что рассчитывает на дальнейшую дружбу и хоть редкие встречи. Живя в соседних районах, встреч в крохотном Цюрихе им, конечно же, не избежать. Но вот дружба... Нужна ли она ей теперь...

— Итак, инвесторы проанализировали наше развитие за последние три года и пришли к выводу, что затраты на новейшее оборудование, рост заработных плат и прочее абсолютно неоправданны. Мы не просто перестали приносить прибыль, последний квартал показал работу в минус! Не буду вдаваться в статистические отчеты, поверьте мне, все действительно очень удручающе. Кроме того, как вы знаете, с каждым годом открывается как минимум еще два подобных нашему заведению. Конкуренция зашкаливает. У вас есть предположения, как нам нарастить прибыль?

— У меня нет. Моя должность подразумевала выполнение конкретных задач. Я могу показать отчеты.

— Это я прекрасно знаю, Элизабет. Мы с вами работали много лет, пусть и в разных отделах. Меня несколько расстраивает

тот факт, что вы, фактически правая рука предыдущего директора, так далеки были от понимания о бизнес-целях нашей компании. Что ж, оно многое объясняет. Вы прекрасный работник. И мне хотелось бы не только сохранить вас, но и повысить вашу квалификацию.

— В нашей сфере появились курсы повышения квалификации?

— Нет, увы. Что, кстати, может быть нами использовано для развития новой возможности получения дохода. Смотрите-ка, мы говорим всего минут пять, а вы уже подали мне прекрасную идею. Запишу позже. А пока скажите, вы же в курсе про наше хранилище?

— Прошу прощения?

— Место, куда отправляются ящики из комнаты А-3107.

— А, да. Я бывала там однажды, при знакомстве со зданием.

— Я отдал указание пока приостановить утилизацию.

— Зачем?

— Думаю, что все эти вещи... Они слишком ценны, чтобы их уничтожать. Пока еще не решил, в каком формате, но думаю, мы могли бы создать из них выставку или отправлять в какой-нибудь музей.

— Вряд ли пациентам это понравится.

— Отчего же? Они все жаждут оставить после себя след, напоминание. Иначе зачем берут с собой в день процедуры эти вещицы? Если мы создадим выставку, уважим их желание запомниться, то новые потенциальные клиенты будут туда приходить и видеть, что наша компания действительно чтит память каждого. Я бы вот хотел, чтобы после меня что-то осталось. А вы?

— Не знаю, как отнесутся к этому сотрудники.

— Сотрудники должны думать о целях компании и о желании клиентов. Подобный ход может и прибыль принести от таких выставок, и рекламу. А теперь к главному. Вот вам два новых запроса. Проглядите их и навскидку скажите ваше мнение.

Распечатанные письма просителей были уже с пометками маркера. Маркус никогда не распечатывал письма. Чем меньше овеществления, тем легче, считал он... Она бегло взглянула на заявки.

— Полагаю, оба отказники? Насколько я понимаю, они физически здоровы.

— Вы уверены? Там, внизу, выделенным шрифтом.

— Да, вижу: биполярное расстройство. Но это же просто психическое расстройство...

— Что же, это разве не заболевание, на ваш взгляд?

— Просто мы не занимаемся такими случаями.

— И зря. И нет. То есть зря, что не занимались, и нет: теперь мы им отказывать не будем!

— Это ваш новый план? Наши юристы не согласятся на такое.

— Это наш общий новый план, который я и представил инвесторам полгода назад. И месяц назад они получили одобрение оттуда, — недвусмысленный жест указательным пальцем вверх. — В цивилизованных странах депрессия считается достаточным диагнозом, чтобы человеку дать больничный, который оплачивает страховая компания. Шизофрения, даже со стойкой ремиссией, — достаточное основание для инвалидности. Болезни Паркинсона или Альцгеймера сводят с ума всех близких страдающего. Если ментальное заболевание с годами лишь прогрессирует, разве человек не страдает?

— Конечно, страдает. Но имеем ли мы законное право...

— За это не переживайте. Юридический отдел будет укреплен в ближайшее время очень мощными специалистами. Больше никаких личностных факторов, индивидуальных особенностей и прочее. Лишь четкая система «да — нет». Помните ту шумиху, которую устроила пресса, когда пропал ваш австралиец, а его родня обнародовала переписку?

Элизабет сдержала поток эмоций и насильно удержала себя в кресле.

— Да, ситуация была очень... напряженной. Только при чем здесь это?

— При том, что мы слишком затянули дело этого ученого.

— Мистера Томпсона. Его звали Колин Томпсон.

— Ну да, его. Если бы был четкий устав по случаям с нефизиологическими расстройствами, вы сразу отправили бы ему готовое решение. И человек спокойно его принял бы. А в итоге — чего вы добились своими бесконечными деликатными письмами? Старик бесследно исчез, а родственники обрушились на нас, что мы всему виной! Вывезли его по чужому паспорту, приехали сами с инъекцией в их Австралию — чего только не писали! Это же безумие! В итоге нам нанесен колоссальный имиджевый ущерб.

— Мы просто искали, как ему мягко и уважительно отказать.

— И очень зря, что отказать. Старик, небось, утопился где-то или, еще хуже, стал жертвой грабителя-маньяка. В любом случае, вы не дали ему шанса умереть достойно.

— Этого мы не знаем. Просто таковы были правила, и мы работали по ним.

— Правила поменялись. Теперь люди с ментальными заболеваниями будут иметь такое же полное право на наши услуги.

— Любые?

— Это вопрос времени. Пока что те, кто сможет предоставить врачебное заключение о том, что заболевание прогрессирует и серьезно ухудшает качество жизни пациента.

— Не слишком ли это...

— Что? Упрощает? Человек не выбирает, рождаться ему или нет. Но почему-то он должен нести бремя своего существования, даже если не хочет. Для чего?

— Боюсь, слишком много вопросов за один день. Мне нужно время, чтобы переосмыслить... Думаю, что не только мне.

Элизабет встала. Хернхоф запнулся, заметив ее нетерпение, спокойно приподнялся из кресла и уже медленнее продолжил:

— Уверен, что лично вы справитесь быстрее всех. Спасибо вам за продуктивный диалог. — Он не спеша обошел стол и направился к двери. — Кстати, в мой кабинет дверь будет всегда открыта. Мне хочется ввести новые порядки, но не принудительно, разумеется.

Элизабет обдумывала, как выстраивать отношения с Йозефом Хернхофом. Уже две недели, как он стал ее начальником, но пока в чередѣ слишком частых собраний и деловых встреч, которые он устраивал каждый день, чтобы полностью войти в роль, у нее не хватало времени спокойно сосредоточиться и определиться с собственной позицией.

Она сидела на краешке стола в своем кабинете и смотрела через оконное стекло: местные птицы атаквали свежую кормушку, по очереди выпихивая соперников из подобия микробеседки. Хернхоф пару раз заказывал азиатскую еду из какой-то забегаловки. Лапшу привозили в картонных контейнерах-конструкторах. После завершения трапезы в коробке выдавливались окошки, а в пакете доставки лежали шнурки для подвешивания кормушек-домиков. Швейцарская педантичность с азиатской непродуманностью: от частых дождей и высокой влажности такие кормушки съезживались уже через неделю. Однако Йозеф, кажется, планировал обеспечивать пернатых бесперебойно, считая, что такие домики наиболее экологичны. Станный он, людей похоже не любит, животных вроде бы опекает. Однако, если оставаться, нужно определиться со своей ролью. А пока она не придумала вариант, что делать, если не оставаться.

Уйти можно всегда, а посмотреть, что сделает Йозеф Хернхоф из их компании, — это интересно. В конце концов, когда она пришла сюда почти пятнадцать лет назад, ей просто оставалось принять готовые правила. Ей и в голову не приходило, что что-то можно устроить по-другому. Она боготворила Маркуса: каждый его довод казался удивительно рациональным, все идеи

гениальными. После многолетних скитаний и поисков своего места Diab-со был для нее как новый дом для сиротского ребенка. И, благодарная за приют, она была счастлива согласиться со всем, что они предлагали.

До этой компании Элизабет как кочевник скиталась по миру, два года провела на корабле-госпитале, плавающем вдоль африканского побережья. Два таких разных года: первый — воодушевляющий, завораживающий, наполненный гордостью за свой выбор. Еще бы, международная миссия, волонтерство максимальных масштабов. И второй, так внезапно обесцвеченный личной драмой, когда разрыв с любимым мужчиной как будто бы наложил фильтр и все вокруг из идеи спасения превращалось в наблюдение за их собственным бессилием. Весь год ее сознание запоминало лишь случаи тех пациентов, которым они не могли помочь, истории, в которых все будет плохо, эпизоды боли, страданий, отчаяния африканского населения. Вернувшись на землю, она устроилась в хоспис во Франции, как будто и дальше пытаясь раздавить себя грузом боли и отчаяния. Однако судьба подбросила ей это место, которое впервые и правда давало облегчение и надежду тем, кому уже никто помочь не мог. Оттого вся клиника, как и ее начальник, казались Элизабет волшебными, удивительными в своей силе и благородности. Со временем она адаптировалась, начала что-то замечать и предлагать — но лишь по мелочам. Ей хотелось перенять не просто правила, но сам образ мыслей Маркуса. И что теперь? Маркус вышел из игры. По факту он признался в том, что «дом» ему не нравится. Он выбрал совсем другие правила жизни...

Элизабет подошла к окну и постучала пальцами по стеклу. Птицы недоверчиво покрутили головками и улетели. Какая разница теперь, что там у Маркуса. Он бросил и ее, и компанию. Теперь самой нужно решать, что дальше. И возможно, Йозеф Хернхоф сможет предложить что-то интересное. Главное — настроиться на роль объективно отстраненного наблюдателя

хотя бы на время. Максимально подавить в себе прежнюю Элизабет с ее маркусовскими установками и идеями. Как там во всех этих медитациях — быть открытой миру и новым знаниям.

— А напоследок вот вам материал для размышлений. — Хернхоф распаковал последнюю коробку с какими-то досками, проверил навскидку их содержимое и крикнул в открытую дверь: «Все хорошо, Изабель, распишитесь курьеру».

Он кряхтя приподнялся и начал шарить по ящикам высокого комода.

— Так вот. Очень интересное дело. Секунду, где-то тут у меня был шуруповерт, — он выудил и разместил на столе небольшой кейс с инструментами. Явно его новшество. Маркус все поручал хозслужбам здания. У каждого человека должна быть своя работа. Прошу прощения, лучше сразу найти, а то я потом еще месяц буду смотреть на эти коробки и не находить времени.

Хернхоф, громыхая, выудил из кейса шуруповерт, затем достал из принтера распечатанный лист и протянул Элизабет.

— Теплый привет с вашей родины. Клиент вышел напрямую на наших учредителей, которые попросили проявить к нему особое внимание. Но любое наше решение должно будет получить одобрение сверху, поскольку этот случай может обрести политический оттенок, и наша с вами задача подобрать такой вариант помощи, чтобы он принес максимальную имиджевую выгоду нашей организации.

From: Timur M. tim-believeinlove@yandex.ru
To: Client-service diab-clients@diabco.com

Добрый день!

Прошу прощения за мой недостаточно хороший французский. Я бы предпочел писать на английском, однако правила этикета предполагают обращение на официальном языке страны, а немецким я владею крайне скудно.

Полагаю, что вас уже предупредили о моем запросе. Моя страна очень большая. Самая большая на нашей планете. В ней есть место различным национальностям и вероисповеданиям, в ней есть место тропическим орхидеям и кустарникам, которые выживают лишь в зоне вечной мерзлоты. В ней есть место гениям и маньякам, шахтерам и ворам. Но в ней нет места таким, как я. Таким, которые любят не по правилам.

Один психиатр в своей видеолекции пояснял так: есть дерево, которое растет нормально. А есть дерево, которое растет криво, уже начиная с основания ствола. И неважно, почему оно так растет. Оно все равно вырастает и зеленеет, обогащая наш воздух. Вот и эти люди — они тоже подобны таким деревьям.

Я так вдохновился, что перепостил это видео на свой странице. Мне казалось, такое объяснение настолько просто и понятно. Тогда я еще не совершил каминг-аут и хотел прощупать почву...

Люди чудовищны. Мои знакомые, те, кому я собирался рассказать свою главную боль, писали в комментариях, что кривые деревья могут давать листья и плодоносить, а эти «псевдомужчины» никогда не смогут дать потомства, но лишь распространят свою «болезнь»; с них начался в мире СПИД; их надо вырубить и скорее вынести из сада, чтобы ветки их не заразили молодое потомство.

Я мог бы просто уехать жить в Европу. Пробовал. Восемь лет учился, работал. Но это не мой сад, и в нем я просто чахну. В своем родном саду я не нужен: я опасен и «заразен». Моя семья слишком известна в определенных кругах, чтобы продолжать со мной общение, если я «не исправлюсь».

Надеюсь, вы не станете предлагать мне поговорить с ними или переубедить. Все это уже пройдено. Много раз, поверьте. Они просто не считают, что такое бывает на самом деле. Все их друзья и родственники считают, что это распушенность, что

все можно исправить. Мы пытались. Точнее, они пытались, а я поддавался. Для этого даже подобрали какой-то диагноз, чтобы было от чего лечить. Наверное, это был самый драматичный период моей жизни.

А потом отец сказал, что если бы я убил и отсидел, он простил бы меня и принял в дом, потому что это может случиться с каждым, на то мы и мужчины, природа создала нас воинственными, особенно нашу национальность. А вот то, какой я сейчас, он принять не может. Потому что это позор, природа так ошибиться не могла.

Они получили одобрение всех, когда отказались от меня. Я рад, что жизнь моей семьи после этого наладилась. Они не заслуживали такого осуждения и агрессии. Но после той отцовской фразы я успокоился и перестал драматизировать. В его глазах убийца достойнее, чем я. Значит, страдать уже бессмысленно.

Теперь я просто хочу уйти. Хочу уйти в чужом саду, чтобы мой родной мог цвести спокойно. Описывать свою боль и страдания у меня нет сил. Только с момента каминг-аута прошло уже пятнадцать лет, а страдать я начал еще подростком. Простите. Надеюсь, что можно будет обойтись официальными заключениями.

Спасибо, что даете людям возможность выбирать, как им распоряжаться собой. Спасибо, что делаете мир счастливее.

*С уважением,
Тимур*

Fwd: НАШЕ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

From: Elisabeth Shneider elizabethshneider@diabco.com

To: Michail P. bestwriter111@yandex.ru

——— Пересылаемое сообщение ———

16.05.20.., 15:42, "Elisabeth Shneider" <elizabethshneider@diab.com>

переписку в оригинале, но решил не бередить тему, а подождать затишья.

Как я понял, этому Томпсону вы также далеко не сразу общались категорическое нет. Полагаю, что из деликатности. Потому как в поздних ваших письмах отчетливо читается отказ в связи с отсутствием заболевания.

Сейчас же этот Тимур и ваше название темы письма... Вы правда собираетесь ему помочь? В смысле умертвить? Простите, если обидел вас этим допущением, но что мне еще думать?! Я крутил-вертел в голове эту комбинацию, и единственный вывод, если только это не ваш сарказм... Но вы никогда не шутили подобными вещами. Не могу даже представить себе, что вы можете иронизировать на тему работы, вы слишком деликатны...

Мне кажется, я не совсем понимаю, куда это все ведет. Дело в том, что у меня сложилась концепция книги. Даже название — «Сопровождающая».

Боюсь, я не смогу в правильном свете представить вашу новую миссию. Понимаете, когда пишешь, важно в это верить, этому верить. А то, куда вы двигаетесь... Я не очень верю в то, что это... не знаю.

Это как будто приравнять гомосексуализм к раку или волчанке. Во всем мире многие счастливо живут так, кто-то даже в однополых браках.

А такой выход — как усыпить здоровую молодую собаку просто потому, что не можешь ее прокормить.

Вы обиделись? Простите, я не хотел. Наверное, я перетрудился. Я слишком чувствительный. И эта тема оказалась невероятно жесткой для меня. Копаясь в материале, я погрузился в умирание, перестал замечать жизнь, ее краски. Как будто сам приблизился по эмоциональному состоянию к вашим клиентам.

Мне жаль, что вы обиделись. Мне очень дорого и приятно общение с вами, но, думаю, мне нужен перерыв. Отдых.

Возможно, мы еще вернемся к этой теме. А пока я хотел бы заняться восстановлением сил.

Желаю вам сил и мудрости, чтобы и дальше прекрасно справляться с вашей работой.

Спасибо за уделенное время и вашу открытость!

Мы обязательно еще спишемся, я уверен. Просто нужно время.

С уважением,

Михаил Петричкин

Придурок. Впервые за долгое время она чуть не швырнула ноутбук, даже не удивившись такому забытому чувству гнева. Не надо было и связываться, как чувствовала. Маркус втянул в эту историю, а потом просто сбежал. Только время впустую. Почти год переписки. Кучу воспоминаний переворошил! Еще ведь потом возьмет, да и использует ее материал для своих грошовых рассказов... Ведь по факту она никак не оговорила свои права на свои же воспоминания! А в России, небось, как и раньше, — полный бардак, воровство даже на уровне мыслей, никак не защитишься.

Элизабет пыталась решить, что делать со своими чувствами, куда спустить их, на кого бы. Мама, выросшая в коммуналке и обзаведшаяся собственным семейным гнездом с отдельным санузлом только в двадцать шесть лет, всегда ото всех печалей наливала Лизе теплую ванну с душистой пеной. Неважно, какое время дня и года. Ванна с шуршанием тающих пузырьков — самое гармоничное воспоминание. Еще мама приносила табуретку, на которую ставила что-то вкусное. Чаще всего мороженое. Какое это блаженство — мороженое в горячей ванне.

Элизабет отправилась на кухню, в морозильнике обнаружилось только безвкусное на кокосовом молоке — совсем не то. Сейчас бы шоколадного пломбира.

Пока набиралась вода, взбивая пену с ароматом масла пачули, Элизабет распечатала свои письма к Петричкину и водрузила их на складном стуле.

Спустя час, разгоряченная и полная сил, она вернулась к ноутбуку с прекрасной идеей. Хотела было для полноты радости включить очередную серию космических исследований, но махнула рукой — надо ловить состояние. То самое — возбуждение с тревогой, над которым она столько лет работала с психоаналитиком, чтобы добиться гармонии с собой — теперь оно снова накрывало. И кажется, она понимала, для чего.

Она открыла новый текстовый документ и напечатала: *Accompagnatrice*². Затем поразмыслила, что на французском это звучит слишком конкретно... Да и вообще, история началась еще задолго до французского. Да и кому она обязана писать на нем или на немецком? Правда, русский, особенно русский литературный, сейчас ей дается с трудом... Нестрашно, в конце концов есть редакторы и корректоры, а нынешний шеф Хернхоф такой проект уж точно проспонсирует...

Стерла *Accompagnatrice* и написала «Сопровождающая». А что — красиво звучит. Пусть докажет Петричкин, что это его название. Никаких договоров у них не было. Отказался — его дело. Итак... С чего там начинают — вступление, введение? А, к дьяволу, надо сразу с эмоций. Шрифт надо исправить, а то этот скучный. Итак,

Сопровождающая. Повесть

Елизавета Шнайдер

Нет, вот еще, настоящее имя им. Псевдоним надо. Хотя в реальности — разве остался кто-то там, чье мнение ей все еще важно? Единственная подруга Виола разве что — да она все эти

² Сопровождающая (франц.)

истории и сама знает, каждую неделю их бабские разговоры с вином по скайпу. А остальные — да плевать.

От гнева у меня пульсировала вена на шее. Злость пока еще не сменилась на грусть и подвывания, значит, нужно успеть напиться до полной анестезии. Потянула двери знакомого бара Haifisch³ слишком резко, так, что ударила себе же по ступне. Если бы здесь висели створчатые дверцы, как в американских вестернах, я бы точно смогла открыть их ногой. Из наших корабельных только одна южноафриканка Теана сидит за стойкой. Ну что ж, чем грубее, тем сейчас лучше. А то эти наседки-европейки разведут свои причитания, невольно разрыдаешься.

— Привет!

— О, кто зашел! Королева Елизавета, доброй ночи. Ты уже в курсе?

— Надо хорошенько выпить. В курсе ли я? Какого хрена *ты* в курсе?! Видимо, весь корабль тоже знает.

Сейчас бы по-русски залпом выпить и вволю выговориться. Хотя о таком в принципе можно и просто помолчать. В молчании люди лучше понимают друг друга и меньше спорят.

Девять месяцев назад из этого же порта начиналась «моя новая жизнь». 4:30 утра. (Кому пришло в голову так составить расписание рейса?) Извечный гамбургский окутывающий туман, осенняя промозглость, безлюдный док, я одна с новым блестящим чемоданчиком (додуматься надо было прикупить перед таким путешествием, да еще и керамопластиковый) и кожаным рюкзачком Michael Kors. И вот корабль выходит из тумана мне навстречу. Именно выходит, а не выплывает. Всей своей громадой надвигаясь, вышагивая размеренно, безразлично и оттого завораживающе. Сцена будто из фильма детства про корабль-призрак, который потерялся в Бермудском треугольнике, но все

³ В переводе с нем. «Акула».

находящиеся на нем этого не осознают, продолжая заходить в другие порты, не находя там никого.

За девять месяцев горделивая величественность и загадочность этой махины сменилась на уют и привычность.

Как-то плохо звучит: величественность сменилась на уют... Был огромный и чужой корабль, стал свой до каждого угла. Ладно, метафоры подождут. В конце концов, в ее истории важны чувства, а не слова. А вот про «какого хрена» — так вообще еще говорят там, в России? Грубовато... Ну да и она сама огрубела за два года матросской жизни.

Загадочность растворялась постепенно: с каждым месяцем мне открывался весь его внутренний мир, постепенно не осталось мест, где бы я не побывала. Даже инженерные отсеки изучила — чем еще заниматься, когда три недели вы не пристаёте ни к одному берегу, потому что военная обстановка в Сьерра-Леоне поменялась, и христианские европейцы перестали быть желанными гостями, несмотря на двухлетнее ожидание местными белых врачей. За те три недели мы несколько раз отработали пожарную эвакуацию, эвакуацию на случай затопления, тактику поведения на случай захвата пиратами, обстрела с берега и прочее, и прочее, на радость шефу по безопасности — зануднейшему Дэткеру.

Всех этих эмоций хватило бы на несколько романов. Вот и грусть-печаль начала подкатывать... А рядом только эта грузноватая мужеподобная белая женщина с душой африканки.

— Помнишь, во время трехнедельного простоя, мой день рождения?

— Не очень. — Теана и не пытается изобразить эмпатию.

— Тогда зануда Дэткер позволил нам прокатиться в спасательной шлюпке вокруг корабля в честь моего праздника.

— А, да, точно. Приятный сюрприз выпал.

— Когда мы огибали эту махину, мне казалось, что это я свою жизнь оглядываю со стороны.

— Такая же старая и потрескавшаяся?
— Да ты прелесть.
— Все еще обижаешься?
— Да что уж, за столько месяцев привыкла к тебе. Знаешь, конкретно тогда мне казалось, что моя жизнь такая же огромная и движется по чьему-то плану, о котором меня оповестят лишь по факту реализации. А вот сейчас твоя метафора мне кажется более убедительной.

Перед нами ставят два стакана. Рыбки изо льда плавают в карамельного цвета бренди.

Бренди? Кажется, они пили водку. Нет, водка — это так по-нашему, собьет всю атмосферу: отдает чем-то грубым и упрощенным. Вино тоже не подходит — не тот накал. Хотя в данный момент бокал красного не помешает.

Она почти припрыжку отправилась в гостиную, где на стойке для винных бутылок лежало сразу несколько прекрасных экземпляров. За последние пару лет с них только педантично стирали пыль. Никакого алкоголя, красного мяса, глютена, минимум сахара... Благодаря ограничениям в еде и ежемесячным полумарафонам (мысленно она еще надеялась когда-нибудь осилить и сорок километров, но пока побаивалась), она выглядела лет на десять моложе ровесника Маркуса. Маркуса, который скоро совсем превратится в Санта-Клауса, окруженного благодарными внуками и будет получать рождественские поздравления от женщин, которые все-таки решили рожать. Ну и черт с ним. Черт с вами со всеми!

Она не сразу вспомнила, где хранила изящный антикварный штопор. Достала из холодильника твердый сыр. Да-да-да, это так пошло — сыр к вину. Слышали, отстаньте. Не безглютеновыми же батончиками сейчас закусывать? А резать салат нет времени, уйдет настрой. Она принесла бокал и тарелку с кусочками сыра. Потом поразмыслила, вышла и вернулась с оставшимся куском, ножом и бутылкой.

Итак, что там у нас... Рыбки изо льда и бренди, значит.

— Мне кажется, нас обслуживает тот же официант, что и тогда, перед моей первой погрузкой... Так странно. Как будто жизнь здесь замерла. Пока мы плавали почти год, он так и продолжал каждый день разливать людям виски, выслушивать пьяные жалобы, уходить под утро домой, чтобы вечером снова протирать стаканы. Как уныло...

— Не то что у нас — насыщенные приключения! Девять месяцев на этой посудине вдоль африканского побережья. Одинаковые лица, одинаковые болячки, одинаковое палящее солнце и бесконечный океан. — Теана даже говорила с интонацией черных африканцев, как будто нараспев. Они всегда рассказывали о своих болезнях, войнах, прошлом, будущем так монотонно причитая, будто на исповеди.

— Теана, мы вообще-то спасали жизни!

— Пардон, но конкретно мы с тобой никого не спасли. Я девять месяцев учила горстку дошкольников, а ты заполняла бумажули. Этот твой Хавьер может и спасал. Да и то, лицевой хирург, знаешь ли, не трансплантолог: снизу отрезал, сверху пришил, все дела.

— Без моих бумажуль миссия корабля не могла бы состояться. Контракты, отчеты, вся работа медиков должна сопровождаться тоннами бумаг, ты прекрасно это знаешь. А ты обучала корабельных детей, чтобы их родители могли спокойно выполнять свою врачебную задачу, не переживая за образование и досуг своих отпрысков. Представь, что бы было, если бы эти дети целый год слонялись по кораблю без дела?

— Ты чего, речь, что ли, репетируешь перед своим гением? Поздновато спохватилась.

— Иногда тебя хочется послать, Теана.

— Никто, собственно, не мешает.

Бармен ставит еще два стакана с бренди, отмеренным как по линейке. Заведение, несмотря на свою портовую миссию, по-немецки ухоженное. Наполированные стаканы, чистые ламинированные листы меню, на доске с национальной педантичностью каждый день вписывается новое блюдо дня и выпивка по акции. В непогоду при входе ставят специальный бокс с дешевыми резиновыми тапками, чтобы портовые работники могли оставить свои сапоги, облепленные грязью. Стерильная чистота даже в туалетах. А сейчас бы чего-то дикого, эмоционального, живого. Чтобы закрутило, затянуло с головой, отвлекло ото всего.

— Чего, попрощалась со своим гением?

Что ей ответить? Соврать? Все равно весь корабль будет сплетничать, только себя душой выставить. А сказать как есть — так тоже дура. Надо еще выпить, и уже будет плевать, кто там и что подумает. Местный бренди прекрасен после стольких месяцев выпивки с африканским послевкусием. Но и он не пьянит достаточно быстро.

— Знаешь, я ведь была абсолютно счастлива эти девять месяцев.

— Серьезно? С Хавьером? С таким нарциссом можно быть счастливой?

— Не знаю, у меня все были такими. С самого начала это казалось провидением. На таком необычном корабле люди со всего мира. И вот хирург-испанец, который знает русский! Это же удивительно!

— Ты находишь?

— Мой язык не слишком популярный для изучения. Сначала я просто была рада, что с кем-то можно хоть иногда говорить на русском. Я почти пятнадцать лет уже в эмигрантах. А потом, когда все это завертелось... Он же был просто идеален...

— По мне так невозможный зануда. Пойду в туалет схожу.

Теана вполне еще трезвой походкой двигается через полупустой зал. Кажется, она не такая уж и жесткая. Дети ее обожают. Наверное, чувствуют что-то истинное, сокрытое. Но все равно грубость ее какая-то тревожащая: никогда не знаешь, что она на самом деле думает. Не то что Виолка, например.

Элизабет невольно улыбнулась и оторвалась от компьютера. Виола — ее единственная оставшаяся живая связь с Россией, человек, которому она звонила бы в любое время, если б можно было, чтобы услышать в трубке бодрое «Здрав, мать, жива там?» Они были знакомы со школы, и Элизабет знала, что она для Виолы такой же единственный друг: Виола из тех, кого можно полюбить, только когда узнаешь получше, а поначалу окружающим инстинктивно хотелось держаться от нее подальше. Все дело было в грубоватой манере общения. Виола много материлась, хотя и делала это абсолютно без эмоций, отчего ее словообразования приобретали какой-то гармоничный естественный окрас.

— Это у тебя новые перчатки?

— Ага, хренатки. Пальцы не греют, дерьмишко китайское.

— Ты что ли снова волосы покрасила?

— Нахренасила. Хотела рыжим, вышло говнистым.

При этом Виола еще в тридцать защитила кандидатскую и на долгие годы осела в лаборатории при детском гематологическом центре, считаясь ценнейшим кадром, которого регулярно отправляли на международные конференции, что давало им возможности встречаться с Элизабет несколько раз в году.

Элизабет полагала, что на работе Виола так не выражается, хоть и относится скептически к разного рода условностям и правилам: манеры, образ жизни, доходы, социальные ожидания, внешность... Из всего ее тела разве что лицо только и осталось не забитым татуировками. Процесс покрытия себя вечными узорами длился лет пятнадцать и внезапно оборвался после

операции на щитовидке, когда у Виолы произошел какой-то сбой и резко понизился болевой порог. Элизабет вспомнила чуть ли не единственную эмоциональную матерную тираду Виолы, когда та обнаружила, что даже обычный ожог может быть адски болезненным, не то что тату-уколы.

Элизабет задумалась про мат в ее повести: можно ли его оставить в тексте или в России все еще цензура? Надо было рыться в интернете, но она махнула рукой, решив, что наверняка все осталось так же, как в советские времена: вечная русская стерилизация искусства, информации, мыслей. Стерилизуют ото всего, кроме боли и проблем.

Она заметила, что бокал уже пуст, а сил еще много. Вино прекрасно, закуска хромает. Можно, конечно, пойти в нормальный ресторан, но там не попишешь... Зато вкусно поешь! Перед глазами мелькнула утка в апельсиновом соусе с крошечными запеченными картофелинками, ароматные булочки с чесночным маслом, мильфей с малиновым дрессингом, фисташковый эклер, шоколадный фондан. Фантазия разыгралась не на шутку. За последние пару лет диетического режима, ее, конечно, периодически накрывали мысли о прежней еде, но сегодня они показались не тягостными, а удивительно вдохновляющими. В конце концов, ничто не мешает пойти и насладиться нормальной едой хотя бы раз в месяц.

Она взглянула на часы. Семь тридцать. Сегодня среда. Через пару часов рестораны закроются, останутся только шумные бары с выпивкой и посредственной закуской. Все по графику. Сегодня ее любовь к швейцарской предсказуемости временно превратилась в раздражение. Сейчас так некстати эта их пунктуальность, правильность. Ей хотелось легкости, хотелось писать много и быстро и при этом вкусно есть.

Она протерла циферблат наручных часов. Воспоминания отвлекли от сцены в баре, хотя Теана, да и все остальные на корабле были лишь проходными фигурами в ее жизни, а обсудить

все по-честному она могла только с Виолой. Как остро не хватало общения с ней в тот год после разрыва с Хавьером, как сложно было в одиночку справляться с наваливающимися воспоминаниями, когда каждый предмет вокруг напоминал об их романе.

За первые девять месяцев плавания корабль вместе с Хавьером стал для нее домом в самом широком понимании этого слова. Работа, личная жизнь, благородная миссия — все было здесь одновременно, наконец, все и сразу.

И ничего, что эта личная жизнь активизировалась только во время дежурств соседа Хавьера, благо он был не врачом, а из инженерной команды. На корабле единственная одноместная каюта была только у капитана. Врачи жили по двое, персонал попроще по четверо. Не до роскоши, когда вы заняты таким делом.

И ничего, что работа без зарплаты, а за присутствие на корабле еще нужно было платить. Накоплений Элизабет хватило только на три месяца, а потом ей нашли спонсоров откуда-то из Сингапура, практически всех на корабле спонсировали. Поначалу ей показалось это очень странным, но, как выяснилось, в мире много людей, желающих изменить жизнь африканского континента, хоть и не все могут отправиться в годовую поездку. Кто-то просто дает на него деньги таким «незаземленным» волонтерам.

Хавьер гордо подчеркивал, что платил за себя сам, на его счетах числились приличные суммы. В Барселоне его отец владел сетью клиник, ведущим пластическим хирургом в одной из них работал Хавьер, пока не решил отправиться на поиски приключений. Родители были опечалены такому перерыву в карьере талантливого отпрыска, но решили все равно поддерживать во всем, регулярно пополняя его счета на случай необходимости. Хавьер об этом упоминал вскользь с некоторым раздражением, хотя, возможно, и деланым.

Девять месяцев они были парой. Первые шесть месяцев — крепкой, первые четыре — любящей, первые полтора вообще идеальной.

Большинство коллег считали Хавьера занудой. Элизабет же видела в нем человека думающего, философского, меланхоличного. Страдания были его потребностью: кому-то нужно радоваться для полноценной жизни, ему нужно было грустить. А ей это казалось чем-то знакомым, родным: русским в принципе свойственна такая национальная черта таинственной печали или даже порой открытой депрессивности, что не мешает любить друг друга и такими. Да и весь мир восхищается не самыми позитивно пишущими Достоевским, Буниным, Солженицыным.

Им обоим на тот момент было под сорок, но те девять месяцев они жили, как двадцатилетние. Длинные ночные разговоры на палубе: огонек его сигареты, тихий уставший голос, плеск волн. Бурный редкий секс ночами в его каюте (успевать до шести утра сбегать оттуда, пока не вернется сосед); или украдкой днем в инженерном отделении во время длительных плаваний. Шум невозможный, так и боишься за ним не расслышать, если кто-то вдруг подойдет.

Любовь — слово специфическое, когда твой опыт насчитывает уже с десятков неудачных отношений. Но влюбленность у Элизабет, безусловно, была. Влюбленность и страсть. И бесконечное желание видеть его, находиться рядом, слышать голос, запах...

С его стороны все было немного иначе. Всегда нотка горчинки, нехватка той самой драматичности. Ему нравился дождь, чтобы под ним мокнуть и бродить, но на африканском побережье его было не сыскать. Тогда он находил горечь в ярком солнце, которое так же палит на его родине — только светит оно на беззаботных весельчаков-долгожителей; как несправедливо: одно солнце, а такие разные под ним греются люди.

Как-то на рассвете они услышали, как дельфины плещутся возле корабля — завораживающее зрелище. Хавьер недовольно

поморщился: «Слишком слащаво все это выглядит: рассвет, океан, дельфины, мы с тобой. Как в дешевых мелодрамах». Картинка была для него всегда чем-то важным, может, потому он и выбрал пластическую хирургию.

Теана неспешно садится за стойку. Белая женщина с африканскими движениями. Она даже на фотографиях с темнокожими особо не выделяется — просто кажется, что на нее не хватило краски.

— Теана, а ты почему оказалась на корабле?

— Я думала, мы сегодня слушаем твои истории. Я тут вещь не планировала.

Все-таки с Виолкой, пусть и по видеосвязи, но было бы приятнее. Мы выпиваем снова, но веселее не становится.

— Чего, королева, не надумала всё бросить и за ним?

— Да он и не звал, — разоткровенничалась я.

— Такие не зовут. Гордые. А сама как, поехала бы?

— Не уверена. С ним — хотелось бы. А вот куда и в какой роли? Да он и сам пока не знает, куда теперь. Африка огромна, вся испещрена мелкими войнами, геноцидом, голодом. Не уверена, что мне хотелось бы так глубоко в это погружаться. Наш корабль все-таки движется вдоль побережья. Месяц-два, и ты отправляешься дальше. Для меня в этом есть некое философское дистанцирование. Ты делаешь, что можешь, и двигаешься дальше.

— А ты молодец, обычно у волонтеров года два уходит на смирение. Так надоедает порой эмоциональность новичков: ужас-ужас, здесь такой кошмар, мир должен знать об этом, как же так, давайте жаловаться в ООН!

— Ты тоже так реагировала?

— Нет, я из ЮАР. У меня, считай, прививка от иллюзий, что кто-то на высшем уровне должен прийти и все наладить. Каждый делает свое маленькое дело. Большие поступки мир не меняют, это просто фокусы: пшик, и все преобразилось. Фокусник уйдет, а с ним и вся иллюзия растворится. В реальности все

значимое происходит на местах. Если за большой идеей не стоят тысячи маленьких людей с их личным желанием что-то сделать, то никакие гении ничего не смогут изменить. Обмен помощью происходит на простейшем уровне: от одного человека к другому человеку. Большой масштаб невозможен.

— Но круиз — это огромная организация. У нас сотни операций в каждой стране побережья!

— И что? Вот если б настроение у твоего гения поменялось раньше и он сбегал бы посреди круиза в горячую точку? Раз — и накрылся наш план по лицевой хирургии как минимум на треть. Формально мы продолжили бы оказывать эту помощь, но в реальности конкретные люди получали бы отказ. Сама знаешь, за такую работу, как твой гений выполнял, остальные хирурги не возьмутся.

— Возможно. Не думала об этом.

— В позапрошлом году он сделал одной девушке нос. Я не вдавалась в подробности, по какой причине он у нее развалился, какая-то редкая инфекция, кажется. Так вот, он сделал ей нос из бедренного хрящика, а кожу взял с плеча. Выглядело, конечно, сама понимаешь: треугольник пришитый. Но как же эта девчонка сияла! Главное ее счастье было в идее, что теперь она сможет выйти замуж! Вот она — штучная работа. Плевать ей, сколько сотен пациентов мы обслужим, какие страны объедем, сколько там нас на корабле, а сколько в офисах. Она будет помнить конкретного доктора — и все.

Я сигналию официанту, чтобы он повторил нам заказ.

— Ты знаешь, меня немного отпустило. Собственная катастрофа всегда мельчает, когда думаешь о катастрофах тех, кому повезло еще меньше. Спасибо тебе.

Теана молча кивает и налегает на брецели⁴. Вообще она ничего так, дружелюбная, когда выпьет.

⁴ Большие крендели из дрожжевого теста (нем.).

— Мне кажется, потому Хавьер и решил уйти с корабля. Его внутренняя печаль стала слишком громкой. А наши отношения были слишком легки и просты для него... Не давали страдать.

Теана оглядывает меня как-то снисходительно:

— Тебя оставить с такими выводами или поделиться реальностью?

— В смысле?

Она неторопливо пожимает плечами и продолжает отрывать кусочки от брецеля. Эти ее намеки неприятно задевают, уж лучше бы сразу все сказала. Но я стараюсь казаться безразличной, насколько это возможно:

— Ты знаешь, куда конкретно поедет Хавьер?

— Куда — может и не знаю. Думаю, это будет решать не он, а Алана.

— При чем тут Алана? Эта та, которая из Канады?

— Да, пакистанка из Канады. Она закончила свой контракт в этом году. Ты же сама ее бумаги оформляла.

— Да, естественно... Она сказала, что планирует поступать в магистратуру...

— Может. Она грезила усыновить какого-нибудь африканского мальчишку. А для этого, говорит, глупо оставаться в Африке. Нужно его забрать и дать нормальную жизнь.

— В принципе логично. А причем здесь Хавьер?

— Наверное при том, что на эту парочку последние пару месяцев натывается весь корабль то тут, то там. Да и сосед его не дурак... Мужчины — те еще сплетники, молчать не будут. Думаю, детали тебе не интересны, но, если что, можешь спрашивать.

Теана продолжила жевать. Она поела уже, кажется, третий крендель, отрывая своими пухлыми пальцами по небольшому кусочку, некрасиво облизывая зубы после каждой порции. Европейку в ней напоминал только цвет кожи.

Элизабет отодвинула ноутбук и помассировала шею. Поганая история выходит. Десять лет назад она уже закрыла эту главу, выплавав ее не по одному разу на кушетке у психоаналитика, к счастью, русского эмигранта, к счастью, включенного в ее страховку, к счастью, достаточно старого, чтобы спустя пару лет после окончания шестилетней терапии унести все ее тайны в мир иной. Да, уже не болит, но все еще осталось это ощущение гадливости. Стоит ли выстраивать весь роман вокруг эпизода с очередным исчезнувшим мужчиной? Однако он не был просто очередным. Он был, кажется, главным. Или же просто главной болью.

Был ли решающим момент их разрыва или то, как оборвалась потом спустя три года жизнь Хавьера в предгорьях Тибета при странных, дошедших до нее лишь противоречивыми слухами, обстоятельствах?

Обычная женская обида, боль на то, как мужчина добивается тебя, игнорируя просьбы сбавить настойчивость, а потом, влюбив в себя, как подростка, постепенно остывает и уходит. О, сколько статей о нарциссах прочла она по рекомендации своего аналитика. И каждая новая опять удивляла: ну не может же быть, что так у всех?! Ведь у нее были особенные, уникальные отношения. Они казались волшебными, иногда загадочными и уже точно непредсказуемыми. Она была уверена в том, что все было спонтанно и не могло подчиняться каким-то правилам или закономерностям... А оказалось, все это можно было уложить лишь в несколько фраз Отто Кернберга: «У нарциссов зависть является хроническим чувством и на сознательном, и на бессознательном уровне. Такие люди завидуют тому, чего желают, но, получив, сразу обесценивают». Заучила их наизусть, чтобы как мантру повторять себе каждый раз, когда хотелось рыдать и винить себя в несовершенстве. Даже посещала несколько раз его семинары, хотя и половины на них было не понять. Так хотелось разобраться «почему?», но ответ долго не давал желаемого облегчения. Гораздо проще было бы

копаться в своих недостатках, пытаться изменить себя в надежде, что когда-то у них все еще сложится. А приходилось лишь работать со смирением, что Хавьер таков, и она не может поменять его.

Смирение вообще было, кажется, главным ее словом первые несколько лет после корабля. Нужно было смиряться с европейской жизнью, этой размеренностью, степенностью и ужасной негибкостью. Смиряться с тем, что ей на тот момент было уже сорок, она одна и никому, собственно, не будет никакого дела, если она останется или уедет, растолстеет или обретет фитнес-силуэт, возьмет домой пять собак или заведет игуану. Миру было абсолютно все равно, и с этим тоже нужно было смириться. На работе нужно было смиряться с тем, что она старается помочь тем, кто просит, но все равно будут находиться сотни людей (далеко не всегда родственники или знакомые клиентов), которые станут писать им гадости и желать им гореть в царстве Аида. А где-то между всем этим просто нужно было еще смиряться с конечностью и непредсказуемостью жизни.

Пожалуй, у нее действительно хватит историй на собственный роман. И разве смог бы этот нелепый писатель рассказать ее историю так, какой ее прожила она сама? Ей определенно есть чем поделиться с миром.

ГЛАВА 6

Время заструилось быстрее, выходные расплывались, перемешивались с буднями, чуть разбавляя их цветовую гамму. Каждый вечер, ложась спать после ночных шуршаний клавишами ноутбука, она пыталась распознать, найти определение тому, что происходило с ее настроением, какое-то неуловимое ощущение, которое точно уже бывало, но когда и где... И только почти месяц спустя она вдруг поймала себя на мысли, что живет московским

ритмом. Московским ритмом тридцатилетней давности! О да, его ни с чем не спутать, это чувство неиссякаемого предвкушения, ожидания. «А знаешь, все еще будет...» Всегда будущее время, в противовес родительскому «было».

Сколько ни возвращалась она в Россию из эмигрантских своих скитаний, набегам одаривая скудеющую с каждым разом горстку родственников, всегда ее засасывало в это массовое «завтра», в эти предстоящие планы, ожидания, надежды, все чаще неоправданные и оттого с горьковатым привкусом. И, вливаясь в этот поток уже с момента шереметьевской посадки, в унисон страждущим поторапливаясь к стойкам таможенного контроля, она как будто выключала все то нажитое псевдобуддистское умиротворение, проваливаясь в ощущение неизменной спешки, срочности, будущности.

Она вспомнила московские кафе, так непохожие на парижские, где столики развернуты к улицам, чтобы любоваться прохожими даже в самых неживописных закутках города; созерцание — это часть познания жизни, во всех ее аспектах. Российские рестораны наполнены посетителями всех возрастов, но при этом настолько одинаковыми в своих стремлениях решить сотни вопросов, параллельно поглощая разогретые в микроволновке, но красиво разложенные и декорированные капельками соусов бизнес-ланчи. Люди носят с собой телефон, как святой Грааль, спасающий от чувства ненужности. Они разучились просто сидеть и есть, особенно если пришли в одиночку; фонят высокомерием, часто выдаваемым за чувство собственного достоинства, истощенностью, прикрываемой образом живущего на полную катушку, нарочитой говорливостью, прячущей страх оказаться одиноким и забытым. Как же давно все это ее окружало...

И вот в последние недели начали пробиваться ростки того самого, всегда даже в радости нервного предвкушения, напряженного ожидания или умиротворенной надежды на прекрасное

будущее, которое полностью вытесняло настоящее. Кто бы мог подумать, что роман затянет настолько, что за десятилетие сотканная паутина цюрихской туманной размеренности начнет рваться под порывами московских ветров ее памяти. В течение дня она жила мыслями о вечере, когда засядет за роман. Роман ли? Изначально она была уверена в такой характеристике. Но чем больше текст проступал, тем чаще в голове проскакивало такое русское и такое забытое — повесть: некий *недороман* или *перерассказ*.

И вот уже и она начала носить на работу свой Мак, в обед пристраивая его на коленях (столики кафе обычно бывали маловаты): писать новое в ресторанах не получалась, но хотя бы редактировать и выправлять написанное уже в ночи, оттого с частыми повторами и описками.

Работа продолжала быть, плыть, течь... Любой глагол, подразумевающий самостоятельность этого процесса. Элизабет не потеряла интерес, не обленилась. Но работа стала какой-то отдельной Вселенной, миром ее новой повести, в котором Элизабет из активного деятеля постепенно превращалась во внимательного наблюдателя. Так космонавты восхищенно разглядывают в иллюминатор Землю, видя ее внезапно такой цельной, отдельной и вполне себе существующей и без них: они часть этой земной жизни, но их отсутствие настолько мало и незаметно для той, кем они любят.

Принятие того, что без нас жизнь будет продолжаться, и так же будет звенеть шестичасовой трамвай на повороте, и будет идти назойливый ноябрьский дождь, и будет висеть в июле безразличное желтоватое небо — все это либо делает тебя злобным завистником к тем, кто моложе и здоровее, либо превращает в философа. Пациенты, по счастью, попадали в их клинику уже во второй роли. Насколько искренней она бывала — раньше казалось неважным. Сейчас же Элизабет, как любопытный исследователь, пыталась рассмотреть, как в микроскоп, этих

испытуемых в экспериментах Вселенной: действительно ли они всех простили и идут к концу с облегчением или до последнего дня несут привычную маску, а сами с удовольствием бы обматерили всех вокруг, да только стыдно, нужно держать фасад. Себе и своей компании Элизабет давно перестала отводить какую-то решающую роль, все больше веря в безусловное наличие некоего высшего замысла, который дал и страдания, и способ их прекратить. Поэтому все, что она может, — лишь выполнять свою работу, пока Вселенная не помешает ей. Выполнять и наблюдать.

Вселенная в свою очередь продолжала отсеивать клиентов, который Элизабет принимала с должным смирением и согласием. И как ни пытался новый шеф расширить масштабы их действий, некоторые случаи все равно оставались им не под силу. Дело «кавказского пациента», как она его для себя обозначила, застопорилось. Ни юристы, ни владельцы их клиники, конечно, не дали добро на включение в программу таких клиентов. Тимур оказался очень воспитанным и сдержанным: никаких угроз, обвинений, шантажа. Он просто продолжал иногда писать ей о том, как ему тяжело, и просил сообщать о хоть каких-нибудь надеждах на продвижение его случая. Сам он решил не опускать руки, а попробовать получить гражданство Бельгии. Элизабет догадывалась почему, но решила не спрашивать. Именно в Бельгии так называемая активная эвтаназия была официально разрешена. Причем купить набор для нее можно было в аптеке, правда при предъявлении соответствующего рецепта от врача. Такие разрешения, конечно, не выдавались направо и налево, существовал жесткий контроль со стороны министерства, различных комиссий. Все это они часто обсуждали с коллегами на ежегодных европейских конференциях. Бельгийский подход казался Элизабет более открытым. Из-за необходимости самому приобретать набор для процедуры, клиент по факту разделял эту ответственность с врачом в более равной пропорции,

нежели пациенты их клиники, которые оставались пассивными. Однако иностранцы ни за какие деньги не могли получить в Бельгии услугу преждевременного ухода.

Повесть заполнялась новыми сюжетами, новыми голосами, новыми вопросами. Можно было ничего не выдумывать — ее жизни хватило бы на три полноценных романа. Один московский, второй скитальчески-эмигрантский, а последний швейцарский, который ко второму типу отнести не хотелось, поскольку здесь она считала себя своей. По крайней мере, до недавнего времени точно. Она оформила бы романы разными стилями, формами, повествователями, как у Сорокина или Иванова. Оформила бы... Чем больше писала, тем больше хотелось, искренне веря в уникальность и неординарность своего опыта, мышления, статуса. Несколько раз она прерывалась на пару дней, всерьез обдумывая эти три ненаписанных еще романа и высчитывая, сколько можно рассказать в повести, чтобы точно остался материал на будущее. Мысль о том, как много всего предстоит, как много еще будет... И это русское «будет, будет, будет, будет, будет»...

Чем больше писала она о своих скитаниях, тем отчетливее проступала в ее воспоминаниях Москва. Приютить ее в повести было категорически невозможно, так туго текст был наполнен другой жизнью, что не получалось раздвинуть хоть немного, чтобы пунктиром наметить родную столицу. Но в настроении Элизабет каждый день Москва, как под умелой рукой акварелиста, слой за слоем проступала все ярче, задним планом заполняя полотно ее повседневности. Давно позабытые звуки утреннего Курского вокзала, серое уютное небо, запахи подъезда и первого ноябрьского снега — Москва проступала всем своим настроением, теми своими целями тридцатилетней давности.

Да много ли там изменилось? Такие же несущиеся куда-то молодые, жадные до работы и известности, сорокалетние,

спешащие еще запрыгнуть в этот сверхзвуковой самолет, не сдающиеся пятидесятилетние...

Пациентов становилось все больше. Новый директор отлично справлялся со своей миссией. Протестов, угроз, а особенно гневных писем тоже, естественно, прибавилось. Элизабет целыми абзацами вставляла их в свою повесть, дабы не напрягаться в изобретении новых героев, языков и стилей общения. Выходило вполне себе живо. Не назовешь художественным, однако, что ж, раз так ей пишут.

Повесть постепенно затягивала, уже диктовала определенный образ жизни. Каждое новое гневное письмо Элизабет больше не воспринимала с горечью или печалью, не откладывала момент прочтения, пока не отсмотрит очередную ободряющую серию National Geographic. Письма, даже самые мерзкие или горькие, виделись просто страницами ее повести. А в повести не может быть плохого или хорошего, оттого вся корреспонденция в ее почтовом ящике виделась ей неким энциклопедическим знанием. Она лишь исследователь, который должен все это проанализировать, расшифровать и сохранить для потомков.

Шеф был ею крайне доволен: Элизабет меньше всех задавала навязчивых этических вопросов, работала продуктивно.

...

Они обедали с Йозефом Хернхофом, обсуждая очередную пациентку. Со временем Элизабет стало казаться вполне удобным совмещать перекусы с решением рабочих вопросов. Во-первых, в офисе она часто занималась своей повестью и отвлекаться на основную работу порой казалось просто кощунственным — вдохновение всегда такое неустойчивое. Во-вторых, она была уверена, что кроме работы обсуждать с Хернхофом в принципе нечего, но он так часто предлагал обедать вместе, а ей казалось таким некорректным отказывать шефу, что постепенно их совместные трапезы, сопровождающиеся профессиональными

дискуссиями, переросли в почти ежедневную традицию. И, наконец, в-третьих, она полностью опровергла для себя теорию Маркуса о том, что рабочие вопросы могут испортить аппетит и вообще не должны вторгаться во внешнюю жизнь сотрудников. Ведь теперь в нерабочее время Элизабет постоянно думала и писала о своих пациентах, так чего уж делать какие-то исключения для обеденных перерывов. Тем более что она настолько дистанцировалась ото всяких переживаний и этических вопросов, что аппетит ей мог испортить разве что труп за столом.

— Что ж, люди могут не хотеть жить. Да, в сущности, какая разница! Нас шесть миллиардов, куда дальше. Мы тешим себя иллюзией, что каждый оставит свой след. Серьезно? Каждый десятитысячный, даже нет, стотысячный, быть может. Известный в его узкой сфере или в его крошечной стране. Да и то, такой след — как у китайцев на асфальте водяной иероглиф. Вы не были в Китае? — Хернхоф не оставил паузы для ответа Элизабет, она уже привыкала к этой особенности нового шефа. Обычно если ей хотелось что-то вставить, она дожидалась, пока Хернхоф откусит большой кусок. Перебивать она не умела, а шеф говорил всегда в таком темпе, будто надиктовывал аудиотекст для последующей расшифровки. — Я вот жил в Шанхае полгода, мы там запускали линейку фитнес-коктейлей. Тяжелое это было дело, кстати, почти безнадежное. Фитнес-ажиотаж там наблюдается только у самой богатой прослойки, да и они в здоровом питании не нуждаются. У них национальный метаболизм какой-то бешеный: постоянно едят, причем такое жирное и сладкое, что у европейца печень давно бы села, а этим хоть бы что! Толстяков единицы, кожа у всех хорошая, да и сила даже в каком-нибудь тщедушном уборщике ого-го какая. Нагрузит себе на велик такую стопку картона для переработки, высотой с фуру, и крутит педальки, как на детском велосипеде! Попробуй таким вот впихни фитнес-питание, где

все нужно отмерять, где диета определенная, еще и вкусы на европейца рассчитаны. За полгода многому научился я там на собственном опыте. После такого делать бизнес в Европе — вообще раз плюнуть, я бы для закалки всех этих холеных умных выпускников МВА отправлял сначала в Китай, приезжали бы через год бесценными специалистами! Китай прекрасно учит. А вот в парках у них есть чудачки — выводят водой на асфальте свою каллиграфию. Такая огромная толстая кисть, привязана к трубе размером со швабру, а наверху бутылка с водой. Самоделки, конечно, но конструкция отличная, компактная. И вот этот иероглиф или целое послание, которое он с такой любовью выписывал — понимаете, его успеют увидеть несколько утренних зевак, а дальше все! Растворится он уже через несколько минут, исчезнет. И вечерние бегуны небрежно протопчут кроссовком по тому самому месту, даже не узнав, что утром кто-то здесь сосредоточенно вырисовывал закорючки, наслаждаясь и медитируя не хуже, чем наши цюрихские домохозяйки на занятиях йогой.

Хернхоф откусывал небольшие куски горячего сэндвича, тут же запивая минералкой, чтобы можно было говорить дальше, периодически отирая рот дешевыми бумажными салфетками.

— Чего из этого делать драму? Ладно еще то древнее дело Ламбера⁵. Наивно, конечно, полагать, что человек хотел бы в таком состоянии прожить несколько лет, однако формально его согласия получить не смогли. То есть можно еще переживать, конечно, мол не очень честно, не спросили. А здесь-то у нас взрослая девица! Образование получила, то есть представление о мире и его устройстве имеет, не какая-нибудь с младенчества сектантка. Мозг этой Агнесс вполне сохранен и может соображать. Так чего мы все играем в детский сад — люди вполне

⁵ Громкое дело французского пациента Винсена Ламбера, проведенного в вегетативном состоянии 11 лет и отключенного от аппаратов жизнеобеспечения вопреки судебным искам его родителей.

в состоянии решить, хотя бы они участвовали в этой затее на семьдесят лет или пораньше желают сойти с дистанции. Кто это вот напридумывал, что жизнь должна быть дорога всем? Миф! Иллюзия, не больше. Вот вы любите десерты? — внезапно завершил он.

— Десерты? — Если к бесперебойности речевого потока шефа Элизабет уже привыкла, то его неожиданные перескоки, странные метафоры и внезапные бессвязные вопросы до сих пор ставили ее в тупик. — Увы, люблю.

— Почему «увы»?

— Это несчастная или даже почти запретная любовь: в моем возрасте нужно ограничивать сахар.

— Вот видите, все время нужно делать выбор. А вот я не люблю сладкое. Понимаете? Совсем к нему равнодушен. То, что для вас удовольствие, порой недоступное, для меня — бессмысленное излишество, не приносящее радости, но обременяющее организм, как вы правильно заметили. Так и с ценностью жизни, для кого-то это лишь бремя. Так зачем «заставлять кого-то есть конфеты»?

Элизабет задумалась. В голове всплыла картинка московской кухни, их семейных обедов втроем, обязательно завершавшихся чаепитием. «Не доверяю я людям, которые не любят сладкое», — в очередной раз вкрадчиво говорил папа, чуть отхлебывая из большой керамической кружки, которые ему десятками дарили на работе к каждому празднику. У них дома сервизы долго не жили, а папины кружки выручали — разноразмерные, разноцветные, с нелепыми афоризмами и картинками, они выставлялись на стол даже гостям, под добродушные избитые шутки о том, что «Лизка опять всю посуду перебила». Она и правда, несмотря на хрупкость, была неуклюжей. Что, впрочем, выправилось позднее, лет через двадцать.

Чай со сладким у них был так же неотделим от любой трапезы, как мама от папы (за тридцать восемь лет их брака они

расставались только дважды: на роды и на папину госпитализацию). Сладкое было в доме всегда — для него в кухонных шкафчиках выделялась отдельная полка. Что-то похрустеть, что-то «полезное» (зефир, мармелад, пастила), шоколадки, неоткрытые баночки с джемом на пирог («Витя, я же тесто замесила, а ты всё малиновое, оказывается, съел!»), подарочные конфеты. Из заграничных поездок Лиза всегда привозила сладкое — «лучший практичный подарок».

Папа умер от диабета. Точнее, от нежелания что-либо менять в своей жизни после постановки диагноза. Год спустя у мамы оторвался тромб. Ее положили рядом: папина могила не успела затянуться зеленой травой, как будто знала, что нужно подождать, пока соединятся оба, чтобы укрыть их навсегда молодой порослью. На похоронах резко постаревшая (или так показалось год не видевшей ее Лизе) тетка сказала: «Пора тебе, Лизочка, осесть уже дома. Пора. Здесь родители, здесь и мне скоро быть. Надо ближе к корням возвращаться. Чтобы всегда прийти, когда тяжело, совета спросить, поделиться чем. Да и за могилами следить надо». Через год Лиза стояла в Гамбургском порту и выглядывала пробирающийся сквозь молоко тумана корабль. С тех пор в Россию она не приезжала.

Элизабет смотрела на безразличного к сладкому Йозефа Хернхофа. Поджарый, зеленоватого цвета, часто с коричневыми кругами под глазами. Наверное, нездоровый желудок. Они сидели напротив офиса в азиатской закусочной с самыми лучшими горячими сэндвичами, которую по традиции выбирала Элизабет. Хернхофу было абсолютно безразлично, где и чем обедать. Он ел всегда впопыхах, запивая пищу напитками всех сортов. Устрицы и суфле из гребешков он поглощал с тем же видом, что и кебаб в арабской лавке. На первом этаже их клиники появились вендорные машины с ледяными подвядшими салатами и майонезными бутербродами. Секретарша шефа наизусть выучила телефоны доставщиков пиццы и тайской еды.

С такими гастрономическими привычками немудрено было бы и язву заработать, не то что землистый цвет лица. Хотя Хернхоф, наверное, у зеркала крутился редко, только чтобы поправить костюм перед очередной деловой встречей, коих появилось теперь бесконечное множество.

Их клиника менялась, и Элизабет никак не могла определиться, какой ее описывать в повести. Не имея настроения и способностей к фантазированию, ей хотелось описывать все максимально приближенно к оригиналу. Но если старую, маркусовскую клинику Элизабет не просто знала, но и чувствовала до мелочей, улавливая любые вибрации перемен, то сейчас, при Йозефе Хернхофе, все начало работать совсем по-другому. Оно не зачало, не разрушилось, вопреки ожиданиям многих (в том числе и ее), но оно все время куда-то двигалось, менялось.

Йозеф Хернхоф, безусловно, любил работать. Он любил сам процесс непрерывной деятельности, вне зависимости от того, какова была цель или финальный продукт этой деятельности. До прихода в их клинику он возглавлял маркетинговый департамент крупнейшей европейской компании по производству добавок для фитнес-питания. Сами добавки его абсолютно не интересовали, он вообще никогда не был фанатом ничего, что умел хорошо продвигать. Однако специалистом он был прекрасным, как раз благодаря этой здоровой доле отстраненности. Он не видел разницы между тем, сколько витаминов положат в баночку белковой смеси (да что вы спорите, положите группу В, раз она дешевле, чем D). Ему был важен дизайн этикетки, форма банки, цвет крышки. А содержимое интересовало лишь с позиции того, как это удачно подать в рекламе.

Так и сейчас он заботился о продвижении услуг клиники, одновременно успевая охватывать необъятное: запустил колл-центр (Маркус никогда не доверил бы сторонним людям рассказывать об их услугах: только личный контакт с каждым пациентом), сделал отдельные входы в клинику (для знакомства,

для родственников, для приехавших на укол), заключил договоры с транспортными компаниями по репатриации (раньше все эти задачи должны были решаться семьями клиентов самостоятельно, клиника лишь выполняла процедуру), начал переговоры о предварительном выкупе мест на пригородном кладбище (обязательно в разных его частях, «мы не хотим, чтобы клиенты чувствовали свою изолированность даже после смерти»).

Элизабет поражалась размаху работы. Порой даже восхищалась всей мощи его энергии, хотя одергивала себя, что все это ведет куда-то не туда. Хотя где было ее собственное, а не маркусовское «туда», она еще не определила.

...

Когда спустя полгода в комнате с густо-серым небом ушла Агнесс Гише — двадцатисемилетняя француженка, страдающая глубокой депрессией уже пятнадцать лет, Элизабет вдруг как будто встряхнулась. В ее размеренную, как она ее величала «литературную» жизнь, стали снова доходить слабые пульсирующие сигналы извне. Это было так не вовремя. Повесть набирала обороты, разрастаясь все-таки до романа, сюжетных линий становилось все больше, и Элизабет уже была подписана на несколько каналов по писательскому мастерству, с иронией отмечая, как просты и мелки их задания по сравнению с ее идеей. И тут эти позывные, как будто сквозь тяжелую дрему отпахавшего ночную смену в баре человека, она слышит, как розовощекий Мэтью уже проснулся от дневного сна и требует сменить ему подгузник. Сочетание работы официантки и дневной няни было самым экстремальным опытом в ее профессиональной жизни, и даже годы спустя она иногда оборачивалась на улице, как будто слыша эти противные похлипывания вверенного ей в Атланте, четвертого по счету (оттого, видимо, так легко и вверенного) сына звезды местного телеканала.

И вот опять это ощущение чего-то несвоевременного, будящего ее от такого прекрасного забвения в мире творчества. Вообще-то, кажется, первые сигналы беспокойства начали поступать еще во время работы с самой заявкой Агнесс, но Элизабет так увлеклась документированием и последующей художественной обработкой жизненных реалий, что выполняла свои функции механически и связывала редкие вспышки тревоги с изменением диеты и режима сна. Она все чаще начала перекусывать поздними вечерами. Честнее сказать, ночами. Сама собой в руке появлялась чашка чая с какой-то безобидной хрустящей мелочевкой или бокал белого с легким сэндвичем. В кофейнях по русской привычке она заказывала себе излишние порции — как-то неудобно сидеть с чашкой какао целый час, а лучшего места для подслушивания диалогов не сыскать. В общем, какое-то время история депрессивной пациентки была просто фоном, не отвлекающим от основных забот.

Все два месяца переговоров Агнесс общалась с ними с такой легкой улыбкой, что любой психиатр, пожалуй, засомневался бы в правильности ее диагноза. Однако сразу четыре комиссии подтвердили решение последнего лечащего врача Агнесс, наблюдавшего ее девять лет после бесконечных попыток больной найти «своего» психиатра. Это был первый случай пациента с ментальным расстройством, ушедшим в их клинику. Хернхоф действительно реализовал то, что планировал, но аплодисменты в его адрес не прозвучали. Между сотрудниками повисло озадаченное молчание: не то что неловкость, но скорее растерянность. Большинство работников не ожидали такого поворота и вряд ли даже успели подумать, сформировать собственное отношение к уходу ментальных пациентов, да их, собственно, никто и не спрашивал, все решения принимались на уровне Хернхофа и юристов. Элизабет будто вновь вернулась на сцену, как проспавший актер, пытаясь сообразить, в каком моменте спектакля он оказался и какой реплики от него ждут. Многие

коллеги действительно ждали ее реакции, поскольку после ухода Маркуса доверяли больше ей, а не дельцу Хернхофу. Но Элизабет обсуждения щекотливой темы старалась избегать.

Наверное, успокаивающими для совести Элизабет стали слова матери Агнесс. Все-таки кто, как не мать, должен до последнего бороться за ребенка, но мадам Гише — эта железобетонная сухощавая дама с короткой стрижкой, прямой неподвижной спиной и такими же неподвижными длинными серьгами в ушах без слез поведала о том, что ее Агнесс возненавидела жизнь настолько, что за последние лет пять начала дурно влиять даже на своих родственников, «покрывая нас всех, как тяжелым нестираным одеялом, этим мрачным настроением, нелюбовью к жизни, безысходностью и тоской. И постепенно мы поняли, что нужно уступить и принять ее выбор». Эту цитату Элизабет так и внесла в свою книгу, не меняя, хотя в реальности она не совсем корректно отражала ситуацию: согласие родных в данном случае было условностью, не влияющей на решение комиссии их клиники. Это была лишь инициатива Агнесс: получить одобрение семьи. Чувство вины перед близкими, особенно родителями, часто оказывалось последним и порой непреодолимым рубежом для тех, кто хотел уйти добровольно.

Элизабет как-то скомканно закончила главу про семью Гише, будто опасаясь, что саморедактура и повторные обдумывания растревожат ее сомнения, запустят снова череду вопросов о праве их компании участвовать в вопросах ухода, о том, куда все это заведет — тех ненужных вопросов, которые мучили ее первые года три работы, несмотря на то, что в те времена спорных пациентов не было: только терминальные стадии, только добровольные запросы. В глубине души она понимала, что сейчас такие вопросы намного опаснее, чем тогда, пятнадцать лет назад. Куда двигаться, если она поймет, что не согласна с концепцией Хернхофа? Снова менять жизнь уже нет сил.

Элизабет засела перечитывать вперемешку Брэдбери и Азимов, Гаррисона и Бестера, Стругацких и Воннегута. Хотелось окунуться с головой во что-то отдаленное от этой реальности, провалиться так, чтобы туда не доносились отвлекающие импульсы сомнений и совести, зависнуть где-то над происходящим, не касаясь его. Слишком высоки ставки теперь, когда в работе появился дополнительный смысл.

В конце мая почти внезапно (то есть без привычного полугодового раздумья и анализа рынка) она купила себе Bresser Pluto 114/500 EQ — немецкий телескоп рефлекторного типа, «достаточно компактный, чтобы брать на природу». Уже само прикосновение к черному гладкому корпусу переносило сознание куда-то в мир неземного, а потребность вывозить агрегат за город тем более способствовала эмоциональному отвлечению от всего беспокойного. Элизабет устраивалась в каком-нибудь загородном шале или фермерских апартаментах, обязательно с большой личной террасой, устанавливала своего «Плутошу», откупоривала бутылку белого или вытаскивала целый кофейник и погружалась в созерцание. Только она и бездонная темнота, подсвечиваемая нерукотворными огоньками.

Так удивительно, что те же самые звезды светят на всех тех, кого она знала. И где-то там Виолка на дачных качелях, выкуривая очередную сигарету с оторванным фильтром запрокинет голову и уставится в небо с ухмылкой. И в своей полуразвалившейся деревянной хибаре Теана, задерживая на ночь хлипкие занавески, мельком взглянет на Большую Медведицу. Даже этот неказистый русский писатель, и тот любитесь на те же звезды, наверное, сокрушаясь о своем утерянном телескопе или вознося молитвы о новой премии. Все они смотрят на небо, и траектории их взглядов пересекаются где-то в космосе.

Там сверху все эти копошения на их малюсенькой планете кажутся, наверное, нелепыми и хаотичными, как для человека

жизнь муравейника. Люди смешны: спорят, митингуют против разрушений старинных зданий, переживают за продажу национальных произведений искусства — как держатся они за зачатки своей крохотной цивилизации, как кичатся друг перед другом, у кого богаче культурное наследие. И только оттуда, с высоты, все эти шедевры живописи, скульптуры, архитектуры кажутся такими ничтожными по сравнению с произведениями самой Вселенной.

Пересматривая по несколько раз самые интересные документальные фильмы про космос, Элизабет снова возвращалась к успокоительным мыслям о том, как малы и ничтожны наши усилия сохранить несколько лет жизни для нашего тела по сравнению с возрастами планет в космосе, как бесполезны споры об эвтаназии, забирающей у человека какие-то годы, а то и месяцы существования. И все чаще она гадала — какие из этих видимых огоньков уже давно взорвались, и лишь игра законов физики продолжает создавать для нас иллюзию их существования, все еще неся через пространство свет умерших звезд. Как несет она бережно память о Хавьере, который уже давно не освещает и не греет никого на этой земле.

ГЛАВА 7

Уже лет пятнадцать она не просыпалась в таком состоянии, как сегодня. Не то плакать, не то сразу повеситься. Второе звучало особенно саркастично — на днях очередной психопат, которому они отказали, написал им угрожающее письмо о том, что повесится прямо напротив входа в их клинику. И хотя ее все меньше беспокоили подобные сообщения, она методично переносила их в свою книгу. И до сего дня она все больше и больше влюблялась в свой роман, ощущала, как много, как удивительно много ей хочется сказать. Но сейчас ей было плевать и на работу, и на рукопись, и на все вокруг.

Слезы подкатывали все утро. Настроение как в детстве, когда зимой приляжешь спать днем, пока в окно еще светит яркое солнце, а в комнате прохладно: поддувает, сколько ни заклеивает мама окна длинными макаронинами утеплителя и скотчем; укутаешься, счастливый в своей неге, в теплое одеяло, а через два часа тебя будят, всего мокрого от духоты; за окном темнота давно, голова гудит, глаза от лампы режет, всего лишь шесть вечера, и до следующего сна еще пять часов и несделанная домашка. И так тошно, что даже до слез как не хочется вставать. А взрослым как будто и все равно, потому что ты уже не малыш, а школьник, потому что надо «планировать самому», «уметь доводить дело до конца», «организовывать себя» и вот это все бесконечно занудное и унылое — все то, что спустя сорок с лишним лет стало для нее нормой жизни. И если бы были у нее дети, она таким же механическим голосом повторяла бы им те же избитые, но оттого ничуть не потерявшие свою ценность тезисы жизни.

И хоть сейчас за окном было вовсе не черное зимнее московское небо, а молочный туман, за которым и неба-то не разглядеть, но он будто бы и ее душу затянул своим влажным холодом, промозглым, унылым, возвращая в то детское состояние беспомощности, горечи и уныния.

Элизабет механически собиралась на работу, пытаясь по старой памяти прислушиваться к себе, разбираться с чувствами, находить отсылки к прошлому, чтобы хоть чуть отпустило. Увы, ее сознание не хотело анализировать, откуда все это нахлынуло. Ей просто хотелось плакать и не быть. Не быть не то чтобы конкретно здесь или именно собой, а не быть вообще, в целом.

У нее вполне хватило бы времени, чтобы пройтись до работы пешком, но мысль о том, чтобы целых полчаса брести по соседству с туманом, казалась еще более зябкой, чем сам сосед. Она дождалась сине-белого трамвая, зачем-то вспомнив про

старые оранжевые московские, и медленно покати́лась вдоль молочных улиц.

В кабинете Йозеф Хернхоф раскладывал под стеклянные витрины какие-то камни. Те самые ящики, привезенные еще месяц назад, стояли пустыми почти две недели, но Элизабет была уверена, что они заполнятся папками с документами.

— Вот, наконец, дошли руки, — не поворачиваясь поприветствовал шеф.

Элизабет вошла без стука, раз уж Хернхоф считал, что на работе не должно быть закрытых пространств, закрытых тем для обсуждения и вообще всякого «интеллигентного копошения», которое только замедляет решение вопросов. Первое время сотрудники с раздражением воспринимали его привычку вламываться в любой кабинет, предвеляя вторжение лишь выкриком из коридора. Однако Хернхоф и сам полностью поддерживал такой формат свободного общения, отчего постепенно все начали привыкать. Его кабинет был всегда открыт, он нетерпеливо приглашал рукой войти любого посетителя, даже когда разговаривал по телефону.

— Решил вот выгрузить здесь свою коллекцию, — он говорил с ней, повернувшись спиной. — Правда, надо будет заказать дополнительные лампы. Освещение в кабинете никудашнее. Видели когда-нибудь такой опал? — он протянул ей какой-то камень, изда́лека похожий просто на яйцо.

— Нет, я, увы, совсем не разбираюсь в камнях.

— В камнях! — хмыкнул Хернхоф. — Это минералы, Элизабет. Идите, посмотрите. Вот — как вам? А вот эта красота — агатовый жеод! Завораживает, не правда ли?

Под витриной красовались несколько камней различного цвета и структуры. Фиолетовый, как будто со спиралью закрученный внутрь. Желтоватый с прожилками, словно светящийся изнутри. Хернхоф по очереди вынимал их, бережно поглаживая.

Элизабет с удивлением осознавала, что, кажется, у этого человека тоже есть увлечение. Он, всегда говоривший быстро, по делу и как будто с неким раздражением на необходимость произношения всех звуков, сейчас заговорил вдруг бархатисто неспешно, словно рассказывал ей сказку, когда показывал свои экспонаты. Так дети новому взрослому гостю с нежностью и гордостью приносят полюбоваться свои игрушки.

— Вы не любите минералы? Как же их можно не любить. Смотрите, что таится в недрах нашей земли, у нас под ногами! Какие сокровища! А пещеры? Вы и пещеры не любите?

— Я больше люблю небо.

— Небо? — Хернхоф как-то неуклюже повернулся к ней. Затем глянул в окно, будто вспоминая, что собой представляет небо. — А что в нем есть?

Элизабет тоже взглянула на кусочек цюрихского туманного неба. По цвету светлее московского, да только какое-то тугое, обволакивающее влажным. Действительно, какой-то пустой вид.

— В космосе тоже есть камни, в виде планет, астероидов, комет. Только они не лежат мертвым грузом, а постоянно перемещаются.

Шеф нахмурился:

— Это все слишком далеко и абстрактно. Их нельзя потрогать. Их и увидеть-то нельзя на самом деле. Так, фантазии ученых, предположения. А это вот под нами лежит. — Хернхоф слегка потряс перед Элизабет коробкой с оставшимися минералами. — У нас так много неизученного и неизведанного вот здесь, рядом, а люди все время лезут куда-то в высшие материи. Вот так и с отношениями — носятся люди по всей земле, а по соседству, может быть, нужный человек всю жизнь и прожил. Пока мы по сторонам глядели.

Их взгляды встретились, и Элизабет показалось, что последняя фраза как будто бы обращена к ней. Показалось.

...

Через месяц Хернхоф за обедом попросил Элизабет заглянуть завтра в его кабинет до пятиминутки. Он говорил с такой подозрительно воодушевляющей улыбкой, что она начала ожидать очередной сумасшедшей идеи шефа. Утром она уже готова была стойко выдержать любое неадекватное предложение, теряясь в догадках, кого на этот раз он предложит внести в категорию их клиентов.

— Идите сюда, Элизабет. У меня для вас кое-что есть! Узнаёте? — шеф вынул из коробочки крупный камень. В отличие от предыдущих цветастых этот был совсем невзрачным, просто булыжник, упакованный в прекрасный бархатный синий футляр.

— Увы, нет. Я же говорила, что, к сожалению, не разбираюсь в минералах.

— А это и не минерал! А еще говорит, что любит космос! — Хернхоф нарочито пробубнил это, даже улыбнувшись. — Неужели не узнаете? Это осколок астероида, затормозившего в земной атмосфере. То есть — метеорит. Только вчера наконец доставили, хотя аукцион был в прошлом месяце! Просто лот специфический, много бумаг по оформлению. Тот самый метеорит, что несколько лет назад напугал вашу Россию и даже Казахстан! Это уж наверняка помните? Его так и называли: «Челябинск». Держите: это мой подарок! Кусочек космоса для вас. А там внутри свидетельство из лаборатории с результатами анализов состава.

Элизабет замерла в некотором оцепенении... Йозеф Хернхоф, который даже на Рождество приказал для всех сотрудников купить одинаковые пятидесятиевровые карты сетевого торгового центра (Маркус — тот с октября занимался выбором персональных подарков всем подчиненным — от годового запаса пива до урока игры на укулеле), этот же Йозеф на специальном аукционе заказал для нее кусочек космоса?! И вот

стоит, улыбается, как ребенок, даже на человека похож, как говаривала мама.

...

Пробуждение сопровождалось непривычным ощущением тяжести в груди. Во сне казалось, что ее впрягли в картину «Бурлаки на Волге», а она возмущается, но тянет, тянет вперед, а в упряжке больше никого. И от этого она возмущается все больше, но пустота вокруг безразлична к ней. Крикнула — не получилось. Сон... Тогда почему болит — сердечный приступ?

Элизабет наконец скинула с себя эту веревку и проснулась от невнятного ворчания. Йозеф повернулся на другой бок, настойчиво перетягивая ее одеяло, и снова провалился в сон. Элизабет облегченно осознала, что ощущение тяжести возникло из-за взваленной на нее руки Йозефа, а сама она вполне прекрасно дышит и кажется даже выпалась. Прислушалась к ощущениям в теле: немного ныли бедренные мышцы и потягивало внизу живота. Секса у нее не было уже лет шесть, не меньше.

Прекрасные гормональные препараты отодвинули возможный климакс, и сейчас Элизабет впервые мысленно поблагодарила своего гинеколога за деликатную настойчивость. Пару лет назад ей казалось какой-то глупостью бежать от природных процессов старения. Да и ради чего.

Секс с Йозефом был, похоже, лучшим за последние лет пятнадцать. И, кстати, самым спонтанным тоже. Как хорошо, что им сегодня на работу — не придется ничего обсуждать. А можно будет дождаться вечера, и все хорошенько обдумать в одиночестве. А может, и нечего обдумывать. Элизабет еще не решила, что она хочет дальше. Она взглянула на часы — 5:30. Рановато для подъема, но спать не хотелось.

Вернувшись из душа, она увидела растянувшегося во всю кровать Йозефа. Он улыбнулся ей и кряхтя отодвинулся на край кровати, приглашая ее полежать вместе.

— Привет! А я вот тут лежу, думаю.

— Естественно, о работе?

— Нет, не поверишь. О тебе. Я все давно хотел спросить. — он укрыл ее одеялом и прижался поближе. — Так вот, спросить хотел. Я читал у тебя в резюме про корабль-госпиталь. Почему ты оттуда ушла к нам? Мы такие разные по целям, по идеям...

— Говорит мне человек, который занимался омолаживающими добавками до прихода в сферу эвтаназии.

— Ну, во-первых, не омолаживающими, а вроде как оздоравливающими. А во-вторых, я намного проще отношусь к условиям. Но ты, мне кажется, ты — человек идеи. А тут от спасения несчастных к помощи в умирании.

Элизабет поуютнее подоткнула под себя одеяло. Ей хотелось, чтобы Йозеф ее обнял, но просить об этом было как-то неловко.

— Слушай, ну смерть она всегда где-то рядом. И где спасение, там тоже и трупы. Прекрасная у нас тема для утреннего разговора, не правда ли?

— А что, бывали трупы? — Йозеф по привычке игнорировал не интересные ему комментарии, и Элизабет захотелось его как-то подколоть.

— На моем веку целый один. Волонтерша, работала у нас бухгалтером. Очень милая старушка, но зацикленная на теме возмездия за рабство. Мечтала умереть где-то в Африке — видела в этом некоторую символичность. В свободное время ходила и просила прощения у всех наших пациентов за то, что ее предки выкрали их из родных земель и вывезли умирать на другой материк. Она была уверена: чтобы предотвратить мучения своих потомков, ей нужно искупить вину в какой-то там не помню пропорции, но точно была мистическая цифра. В общем, определенное количество африканцев должны были ее отругать, плюнуть в лицо, а потом простить. Именно в такой последовательности. Как понимаешь, простить ее они все были готовы, а вот с первыми двумя пунктами оказалось сложновато. Люди

ждали нас годами, кому придет в голову плевать в белую старушку. А, еще в ее концепции было главное: она должна умереть в Африке, чтобы ее тело похоронили здесь же, в компенсацию за тысячи умерших рабов, похороненных на чужой земле.

Йозеф хмуро вздохнул:

— Все-таки люди должны работать за деньги. Если человек делает что-то бесплатно, это не значит, что он делает безвозмездно. Он будет ждать чего-то взамен, каких-то эмоций, наполненности, благодарности, чувства власти в конце концов. И это еще большой вопрос, что лучше: когда называет цену или когда себя пытается убедить, что он мать Тереза. Не верю я во все эти благородные волонтерские миссии. — Йозеф запнулся и покосился на Элизабет, как-то смущенно улыбнулся. Потом начал гладить ее плечо. — Извини, я перебил тебя. Иногда я бываю очень несдержанным. Просто не ожидал, что у тебя в запасе такие истории. Так ее что же, не проверяли, прежде чем взять в годовой круиз на таком корабле?

— Знаешь, первый месяц никто ничего не подозревал. Ее мозги работали безупречно в плане финансов, несмотря на возраст. Сидела тихо в офисе, заполняла бесконечные накладные. А когда мы доплыли и на борт начали подниматься пациенты, вот тогда только она и начала выдавать. И чем дальше, тем интереснее. Дошло до того, что из операционной пациента встречала и начинала ему бормотать что-то, пока он от наркоза не отошел. Говорила, что записывает им свои извинения на подсознание, чтобы несчастным легче выздоравливалось. Вскоре ее уже открыто, хоть и деликатно, начали шугать. А ей хоть бы что, у нее же миссия. Где-то месяца через три безуспешных попыток на корабле она начала сходить на берег: упростила взять ее в программу наших занятий для приютов, нам каждые руки нужны были. Думала, что раз там дети-сироты, то точно смогут в нее плюнуть, настрадались же, озлоблены. А они только обниматься к ней бежали, с коленей не слезали.

— Не везло бабуле.

— Увы. В итоге в Габоне она пошла в местный бар и нарвалась. Тело наутро подкинули нам к трапу.хлопот было немалое! Это же убийство, официально случилось на территории другой страны, а мы там в статусе международной благотворительной организации. Надо разбираться, но нам через два дня отчаливать, расписание жесткое, потому что с другими странами оговорены конкретные даты. Тело оставлять на борту не вариант — ледника нет, морг у нас не был предусмотрен. Репатриировать — до ближайшего аэропорта двое суток езды, да еще вопрос: кому доверить. Местные деньги возьмут, а тело скинут по дороге, ведь никто не проверит. В итоге так и решили закопать ее ночью. А то исламисты на кладбище хоронить не позволят. Или позволят, а потом еще выкопают.

Йозеф, явно в изумлении, не сводил с Элизабет глаз.

— Бог мой, жутковатая история!

— Хорошо закрутила? Значит, все-таки смогу я написать хорошую книгу.

— В смысле?

— В смысле финала. Я решила усилить. — Элизабет кокетливо улыбнулась.

Йозеф приподнялся на локте и беззвучно выругался. Потом карикатурно отвернулся на другой бок и проворчал:

— Ну вот и верь после этого женщинам. Все наврала, что ли? И это после первой же ночи!

Элизабет рассмеялась:

— Нет же, говорю, просто концовку усилила.

Йозеф кряхтя повернулся обратно и присел в кровати, подложив под спину подушку.

— Никто ее не убивал, конечно. Заснула старушка вечером, а утром ее соседка по каюте будит, а наша дама уже остыла. Правда, проблем с транспортировкой ее тела все равно куча была.

— А зачем транспортировка? Она же в Африке хотела!

— Не вышло. У нее тут же нашлась куча родственников в Алабаме. Она, может, и утомила их всех своей чудаковатостью, но тело они затребовали сразу после телеграммы о смерти. Причем оплачивать репатриацию отказались, сказали, что все должна взять на себя наша организация и страховая. Хорошо еще, не стали предъявлять претензии, что это мы не уследили, не сберегли. Забавно: она так хотела быть похороненной в Африке, а завещание об этом не оставила...

— Может, не так уж и мечтала? Люди часто выдают придуманные желания за настоящие.

...

Спустя два месяца после их первой ночи ей все еще нравилось наутро выходить из дома позже Йозефа и одной прогуливаться до работы, с улыбкой перебирая все события совместного времени, начиная со вчерашнего вечера и заканчивая утренним поцелуем на прощание. Они как будто негласно договорились, что квартира Элизабет не будет обрастать вещами Йозефа, только минимальный набор: гостевая зубная щетка и бритвенный станок. Каждый раз после совместной ночи Элизабет обычно проводила день, почти не общаясь с шефом, занимаясь преимущественно своей книгой. И эта традиция нравилась ей все больше, хотя она и вычитала где-то, что Бальзак считал, что секс лишает его творческой энергии. В ее случае энергия только аккумуляровалась.

Сегодня она проснулась от звука его телефона. Кто бы мог быть так рано? Они, конечно, не обсуждали статус их отношений, но все-таки Элизабет была уверена, что она сейчас единственная у Йозефа, как и он у нее. В их возрасте глупо растрачивать себя на несколько поверхностных связей одновременно. Но телефон настойчиво пиликал, пока Элизабет не растолкала Йозефа.

— Ты не могла бы дотянуться до моих брюк? Они справа на кресле, тебе ближе.

Элизабет молча встала, нащупала в карманах штанов телефон и практически незаметно (как ей показалось) взглянула на экран, пока передавала. На экране светилось просто напоминание с какой-то фамилией.

Йозеф недовольно поморщился.

— Все в порядке? — Элизабет для виду зевнула, но не отводила от него взгляд.

— Да, сегодня надо с утра тащиться продлевать рецепт. Как они надоели. Не могут выписать сразу на год, а у лекарства слишком короткий срок годности.

Элизабет облегченно выдохнула. Про хронические болячки друг друга они не спрашивали, зачем рушить романтику, но сейчас ей было приятно, что Йозеф пояснил ситуацию, а то бы ходить так весь день и мучиться тревогой. Да какой весь день, можно туда и на месяц провалиться, начать следить, замечать то, чего нет. Все это уже было в ее жизни: внезапная частая занятость партнера, странная резкая холодность или этот вот задумчиво-трусливый мужской взгляд, когда он как будто бы хочет что-то сказать, но стесняется, и нужно брать инициативу в свои руки и спрашивать, что не так, хотя и сама уже прекрасно догадываешься, каков будет ответ. А если не спросишь, то еще месяца два так может ходить и вздыхать, отмораживаться, как подросток, которому все не то, а что хочет — не знает. А хуже даже те, кто просто исчезал трусливо. Не то мужчины ненадежные попадались, не то она сама странная. Для женщин, у которых все мужчины умирают, есть термин «черная вдова», а для тех, у кого все уходят, Элизабет никакого термина не знала. Папа шутя называл таких «Мадам Брошкина», но Элизабет злилась на олицетворение женщины с вещью, которую можно бросить, хоть именно так себя и ощущала раз шесть в жизни точно. Особенно с Хавьером. На корабле пары существовали на протяжении всего круиза. Потом они либо вместе сходили на берег, либо, как Хавьер, — оставляли свою

половинку плавать дальше в одиночку. Наверное, сложно было разорвать отношения на середине маршрута, слишком тесно было на этом могучем корабле, чтобы не мозолить глаза друг другу.

Она посмотрела на Йозефа, уныло тыкавшего в телефон.

— А знаешь, у нас на корабле были тонны просроченных лекарств. Мы ими снабжали Африку.

— Ты серьезно?

— Да. За два месяца до отплытия в Африку мы обходили крупнейшие порты Европы, забирая тонны благотворительной помощи для приютов и тонны лекарств для операций и просроченные медикаменты для мелких деревенских амбулаторий.

— Разве так можно? Вы же не какая-то мелкая контора. — Йозеф начал заворачиваться обратно в одеяло.

— Фармацевтика — это отличный бизнес. Они ставят срок годности, но по факту запас еще годовой, а то и больше. Производители хотят, чтобы аптеки закупали их лекарства ежегодно, а не по мере истощения запасов, и аптеки по европейским законам должны эти лекарства списывать, утилизировать или сдавать. А мы их принимали и везли в Африку. В Африку можно скинуть все...

— Как-то это пахнет недобросовестностью.

— Когда я только узнала, вообще была в ужасе. Но потом, увидев истинное положение дел в большинстве мест нашего маршрута, поняла, что лучше так, чем просто сочувствовать им. Эти лекарства все равно спасали жизни.

Йозеф, кажется, был не в духе. Обычно он выбирался из кровати почти прыжком, а сейчас лежал, укутанный в одеяло и хмурился. Элизабет нравилось, когда он ее внимательно слушал, нравилось, что с ним можно было поговорить о чем-то важном, что у нее в принципе получалось рассказывать о себе так, чтобы его заинтересовать. Раньше во время разговоров

с Маркусом ей всегда казалось, что она говорит как-то скучно или жизнь у нее была неинтересной. Хотя с Маркусом вот так в постели она никогда и не лежала, только в своих фантазиях.

— А вот канцтовары для детей и всякие там кепки-футболки нам отдавали абсолютно новые, куча организаций их присылает каждый год. Потому что их шлепают в Китае и покупают за бесценок. А лекарства делают в Европе, и ни один спонсор такими объемами нам их закупать не будет.

— И африканцы, конечно же, и не ропщут... Вот она, благотворительность ваша. Я же говорю — все это условно.

— Забавно, что в корабельной аптеке для персонала все лекарства были свежие.

— Расисты.

— Да нет, просто так положено. Мы все были застрахованы в Германии. Страховку продлевают только при подтверждении ежегодной закупки достаточного количества медикаментов в расчете на весь персонал. В случае катастрофы мы должны были быть автономны, как плавучий город.

ГЛАВА 8

Днем Йозеф вызвал ее к себе по телефону. Она решила, что случилось что-то срочное или ужасное, иначе он, как обычно, пришел бы к ней в кабинет сам.

Когда Элизабет вошла, он стоял у своей витрины, нервно тарабанил пальцами по стеклу:

— Ты уже читала? Про часы его, видела? Это катастрофа какая-то! В два собираемся с юристами. Надо обсудить варианты действий. — Он взглянул мельком на неподвижную Элизабет. — Ты так спокойна потому, что не читала, или потому что не понимаешь, куда это ведет?

Часы — ну конечно же, читала. Куда ведет... Уже никуда. Это были его часы, и его жизнь завершилась. Профессор хотел уйти

именно в них. Он даже солидно подвел под это целую научную гипотезу тогда, во время их первой встречи:

— Я думаю, что если и есть некое подобие бессмертия, то оно должно быть похоже на телепортацию. Да-да, не смейтесь. Все эти фантастические сериалы не так далеки от того, что разрабатывается в секретных лабораториях по всему миру. Перемещение всего образа за счет расщепления на нано-частицы. Как голограмма. Понимаете?

— То есть все-таки вместе с телом? Я думала, бессмертие — это про душу.

— Ах, бросьте, Элизабет, эти аристотелевские понятия. Что это — душа? Объект существует только в некоторой заданной оболочке. Даже у вирусов она есть. Так что перемещение объекта есть перемещение именно составляющих его образа. Это я еще могу допустить, хоть и с натяжкой. В любом случае, исследование начинается с гипотезы, которая в ходе эксперимента будет подтверждена или опровергнута. Так что телепортироваться предпочту в рабочем стиле: строгий костюм, любимый галстук, самые верные из моего арсенала часы.

Элизабет взглянула на протянутую шефом газету, неприступно взяла ее и сделала вид, что впервые читает заметку.

«Мучительное самоубийство или нелепая случайность?»

В понедельник 11 декабря *Рональд Стэйси*, владелец антикварного магазина в Брисбене, объезжая, как обычно, ломбарды соседних городков в поисках интересных предметов для пополнения коллекции, выкупил в ломбарде города Инсвич позолоченные мужские наручные часы швейцарской марки Морис Лакруа, выпущенные в конце 80-х годов XX века. По словам заложившего их в ломбард моряка, часы были найдены в желудке тигровой акулы, выловленной месяц назад.

Элитные номерные часы с позолоченным браслетом практически не пострадали в воде. При детальном рассмотрении Мистер Стэйси обнаружил гравировку инициалов и надпись

на латыни: *Amat victoria curam* (“Победа любит старание”. — *Ред.*). После проведения экспертизы установлено, что часы были подарены Университетом Сиднея известному профессору *Колину Томпсону*, загадочно исчезнувшему почти год назад после не увенчавшихся успехом попыток пройти процедуру эвтаназии. Напомним, профессору Томпсону отказали в медикаментозном убийстве в двух швейцарских клиниках в связи с тем, что он был абсолютно здоров. После исчезновения Томпсона полиция Австралии рассматривала несколько версий: тайный вывоз гражданина с территории страны с целью совершить эвтаназию, преднамеренное убийство по заказу самого мистера Томпсона, а также самоубийство.

В интервью для *Sydney Morning Herald* представитель полиции Сиднея заявил, что уголовное дело, открытое два года назад по статье “убийство”, пока не переквалифицировано в другую статью, однако версия о самоубийстве на данный момент стала приоритетной. Допрашивается владелец ломбарда. С его слов, моряки регулярно сдают ему различные вещицы, которые находят в сетях или внутри крупных рыб. Установить личность моряка, принесшего часы в ломбард, пока не удалось».

Элизабет с утра успела прочесть уже несколько статей на эту тему. Потом она кипятила молоко для какао (лактоза и сладкое на завтрак, что может быть приятнее и вреднее) и с улыбкой слушала австралийские новостные ролики о таинственной находке, вспоминая их с Колином заключительную беседу:

— Жизнь — это нечто большее, чем просто жить, — повторил он выдержку из ее письма, где она цитировала дневник одного из ушедших пациентов. — У меня была прекрасная долгая дорога, Элизабет, теперь вы знаете. Я благодарен, что в конце жизни имел возможность провести время с таким человеком, как вы.

— Это я благодарна, что мне попался такой пациент.

— Пациент ли? — улыбнулся он.

Это был последний их разговор на веранде маленького бунгало. Океан, закат, плеск волн о загадочно приготовленные шлюпки. Только дельфинов не хватает. А по чувствам такое же счастье и легкость взаимопонимания, как когда-то долгими месяцами с Хавьером на палубе огромного корабля. Только собеседник старше ее почти вдвое и никаких отягчающих сексуальных отношений.

Элизабет не сразу сумела вернуться к заранее подготовленной роли с шефом.

— А что я должна понимать? Прошел уже год. Какая нам теперь разница? — ей показалось, что она звучит подозрительно безразлично.

— В том и дело: всего год! — взорвался шеф. — Только-только улеглась шумиха в прессе, и опять новая волна! И вот это вот, про дело по статье «убийство» — зачем они снова это вставили?

— Может быть, теперь у них есть конкретный подозреваемый — тот самый моряк? — Элизабет прочла эту бредовую идею утром в каком-то желтом издании. Однако Йозефу, кажется, она показалась интересной. Он оторвался от своей витрины, задумчиво щурясь.

— Ты думаешь? Это было бы очень кстати. В любом случае, нам нужно извлечь из всей шумихи максимальную пользу. Про моряка пускай думают сами, но мы-то понимаем, что старик просто убил себя. Надо сыграть на опережение и дать интервью о том, на какие страшные поступки толкает людей скупая бюрократическая машина. Напишешь?

— Не уверена, что я смогу правильно донести эту мысль. Он неодобрительно посмотрел на нее.

— Ты же помнишь, наша с ним официальная переписка была вскрыта, частично опубликована. И в ней я проявляла некоторую, как ты выражаешься, нейтральность. Будет странно, если теперь

именно я начну говорить о том, как необходимо было предоставить профессору наши услуги.

Йозеф сел за стол и начал переключать стопки бумаг. Элизабет продолжала молчать, что нисколько ее не угнетало. Она превратилась в оболочку, внутри которой сидела та, настоящая Элизабет, и от души наслаждалась всей разыгрываемой пьесой. Все-таки гениальным режиссером и сценаристом оказался профессор. Йозеф заметно волновался. Ей нравилось смотреть, как он думает: его жилистые руки обычно что-то чиркали на бумаге или на маркерной доске. Еще с юности Элизабет казалось самым привлекательным в мужчине — умный взгляд и «живые» руки, как у отца, который любил что-то мастерить, как у Хавьера, возвращавшего своими руками надежду людям, как у профессора Колина Томпсона, в руках которого часто мелькала какая-нибудь головоломка.

Йозеф любил думать, правда, сейчас этот процесс сопровождался нетипичной для него нервозностью. Он ворчал что-то про СМИ, про силу печатного слова, запускающую цепную реакцию.

— Слушай, а что там тот писатель? Помнишь, ты говорила о каком-то писателе из России?

— Да, он давно отказался от своей идеи с книгой про нас.

— Это неважно. Он писатель. Владеет словом. У нас вот не было клиентов из России, а наверняка там у вас хватает таких же, которые идут на самоубийство от безысходности. Думаю, стоит предложить ему написать статью о нас. Книга — это ерунда, он прав, а вот статья — дело быстрое и меткое. Есть у тебя его данные, где публикуется, для кого пишет?

— Кажется нет, но я посмотрю и перешлю тебе.

Она вернулась к себе в кабинет, включила компьютер и машинально начала искать в почте письма от русского писателя. Эта идея ее нисколько не занимала, но если шефу надо, она найдет координаты и посмотрит, что он там пишет.

Она думала о Колине и с некоторой печалью пробовала на вкус идею о том, как эффектно могла бы вписаться в ее книгу его подлинная история. Могла бы, но увы.

Забавно: ни ей, ни Колину не пришло в голову, что часы смогут найти, и они будут жить своей жизнью на земле даже после исчезновения владельца. Или, быть может, старый профессор так и задумал, хитрец? Вдруг все-таки выиграло в нем желание проверить, оставить по себе громкий аккорд? Кто теперь узнает. К счастью, ей не о чем беспокоиться.

Она вспомнила рассказ, о котором ей говорил Колин, открыла новую вкладку и на русском забила в поисковике: «Сомерсет Моэм. Макинтош». Из динамика послышался женский голос: «Он немного поплескался в море: слишком мелко, чтобы плавать, но забираться на глубину было опасно из-за акул...» Элизабет поднялась и тихо прикрыла дверь кабинета, кажется, впервые за последний год.

«...Час спустя, на том месте, где он упал, плескались и пенили воду гибкие коричневые акулы». Аудиокнига закончилась. Она слушала этот рассказ второй раз, но теперь он не казался таким драматичным. Он был уже не про историю какого-то несчастного англичанина, но про историю Колина.

Полтора часа улетело, и Йозеф мог заподозрить ее в чем-то из-за такой долгой возни с поиском адреса и информации по писателю. В отличие от Маркуса, Йозеф был очень реактивен и нетерпелив. Каждое его предложение предполагало немедленную реализацию. Впрочем, и сам он, когда решал какие-то вопросы сотрудников, решал их сразу, ничего не откладывая на потом. Элизабет до сих пор было сложно к этому привыкнуть, особенно теперь, когда ей хотелось больше описывать реальность, а не творить ее.

Что ж, нужно было возвращаться из великой литературы в... Она не могла подобрать слово — в какую? Мелкую? Неказистую? Нелепую? Бестолковую? Хотя все это характеризовало

лишь самого писателя, а его творчество все-таки могло оказаться иным. Колин пожурил бы ее за то, что она выдвигает гипотезу, но не проверяет ее. Что ж, надо подойти научно. Она снова уткнулась в поисковик, на этот раз уже серьезнее, с целью собрать достаточно материала, чтобы снять тревогу шефа.

...

Йозеф вошел, даже небрежно постучавшись, но не дожидаясь приглашения.

— У тебя такое лицо — что-то еще вышло в новостях?

Элизабет рассеянно взглянула на шефа.

— Ты и дверь закрыла. Будь добра, говори как есть, что там еще?

Элизабет распрямилась и рукой предложила Йозефу сесть.

— У меня какие-то странные новости. Кажется, он всех нас обманул.

— Кто? Профессор?! С чего ты взяла? — Йозеф, не успев погрузиться в кресло, тут же подскочил и вплотную подошел к Элизабет, уставившись в ее монитор. — Это на каком языке? Русский? При чем здесь русские?

Элизабет раздраженно подумала, как глупы все переживания Йозефа и остальных о профессоре. Там уже все давно улажено ею самой, чего перебирать.

— Я про писателя. Ты попросил меня собрать о нем информацию, и кажется, все выглядит очень странным. Он писал о том, что является лауреатом самой большой писательской премии в России. Я проверила — в списках победителей его фамилии нет.

— А! Уж я-то напрягся. — Йозеф неспешно отошел и во второй раз начал усаживаться в кресло. — Пишет под псевдонимом? Писал нам под вымышленным именем?

— Я тоже так подумала, но это его настоящая фамилия, он присылал скан паспорта на случай, чтобы мы могли его пригласить.

— Зачем пригласить?

— Хотел увидеть нашу работу вживую. Ты тогда сказал, что сейчас не до него и такое предложение компании невыгодно. Это было сразу после твоего назначения.

— Что-то припоминаю. Так и что же? Не вижу связи с премией.

— Я проверила фото всех победителей за пять лет существования этой премии. Ни на одной его нет. Более того, даже в коротких или длинных списках его нет. Его вообще нет в списках никаких литературных премий.

— Ты уже заинтриговала. Так, дай угадаю. Это был не писатель, а шпион? Ваши русские хотели через него похитить наши препараты для эвтаназии?

Элизабет невольно улыбнулась:

— А это зачем, уважаемый Шерлок?

— Ну как же, Ватсон, тогда они смогут убивать своих перебежчиков в Европе, а следа никто не найдет! Они же у вас вечно натопчут, как дети. Британцы только и делают, что вытирают и плачутся мамочке в Гаагу. А тут так ловко все обставить: писатель! Кто может заподозрить в шпионаже столь безобидных в своей неприспособленности к жизни людей?!

Элизабет взглянула на шефа, и ей показалось, что они знакомы четверть века, не меньше. За последние пару месяцев после той ночи он серьезно изменился. И, поскольку никто в компании вроде как этого не замечал, она была уверена, что она просто не замечала его раньше, не понимала, какой он на самом деле. Лет десять назад она постоянно твердила, как мантру: только не влюбляться, больше никаких страданий, надо уже отдыхать. Сейчас же кажется, что все эти установки — такая бессмысленная игра. Пусть будет, как будет. В конце концов, что, если не чувства, делает нас живыми.

— Элизабет, если ты продолжишь молчать, я заподозрю тебя в сговоре. Ты обдумываешь, как меня ликвидировать, из-за того, что я обо всем догадался? Раскусил твоего агента!

Она улыбнулась снова:

— Увы, я разочарую тебя. Он все-таки писатель. Точнее, поэт.

— О, поэт... Совсем беспомощный вымирающий вид.

— Да, забавно как раз то, что он не только наврал про премию, но и выдавал себя за прозаика. Говорил, что писал романы, рассказы, сценарии. Я, честно говоря, в полной потереянности: что это было? зачем?

Йозеф, как довольный кот, явно успокоенный сменой темы с таинственных часов на бестолкового плута-поэта, размякнув в кресле, массировал левое плечо.

— Дорогая, автор романа — это звучит внушительно. Представляешь себе такого труженика, выдающего по кирпичу в твердом переплете раз в пять лет. А поэт — ну на какую женщину сегодня произведешь впечатление поэзией? Время серенад под окном и любовных посланий голубиной почтой безвозвратно ушло. Тебя бы я точно не смог очаровать подобными глупостями.

— Отчего же? — ей нравилось, что такие беседы часто и легко подбирались к вопросу их отношений. Они сохраняли тот баланс теплой иронии и намеков, не утяжеляя и не пугая ожиданиями друг от друга. — Быть может, именно такой романтики и не хватает?

— Ой, не поверю! Слушай, а не заказать ли нам пиццу? Что-то я утомился от сегодняшних новостей.

Йозеф, не дожидаясь ответа, выкрикнул в коридор секретарше:

— Изабель, закажите, пожалуйста нам две пиццы ассорти!

Из коридора ответили тишиной, и Йозеф, кряхтя, поднялся и направился к выходу.

— Тебе не интересно узнать, что дальше?

— А что, есть продолжение?

— Нет, но ведь интересно же понять, что значил весь этот пассаж.

— Сейчас, погоди, я вернусь.

Элизабет разочарованно проводила Йозефа взглядом. В последний месяц его походка стала несколько тяжелее. Неудивительно: забрасывать в себя столько еды без разбора. Она и сама явно пополнела. Ее свободного кроя платья пока не подавали сигналов бедствия, а вот нижнее белье стало натирать и оставлять кружевные следы резинок по всем окружностям тела. Хотя Йозеф, кажется, и не заметил ее изменений. Он вообще мало наблюдателен.

В остальном же последствия новой жизни ее не смущали, а вот вкусовые удовольствия целого года, когда ежевечернее писание романа непрерывно сопровождалось похрустыванием чем-то вкусным, — эти ощущения она ни за что бы не променяла на ее прежние планы об участии в городском марафоне. Ей вообще теперь такие затеи казались удивительной глупостью и тратой себя на пустое: бежать по городу вместе с толпой потных, тяжело дышащих, озабоченных своими мыслями людей, а потом дальше, по ободку гор, увеличивая нагрузку на недозвольное и без того тело... И все это ради каких-то пяти минут ощущения гордости за некое очень условное достижение, не приносящее пользы никому.

Она автоматически открывала вкладку за вкладкой, которую выдавал русский поисковик по запросу «поэт Михаил Петричкин». Череда неприглядных фото как будто вытолкнула ее из размышлений о переменах в жизни. На фото в паспорте был намного более приятный человек — скорректировали неплохо. В сети он был похож не то на маньяка, не то на педофила. Хотя откуда ей знать, как подобные маргиналы выглядят. Странный зализанный хвостик на некоторых фото сменялся еще более нелепыми распушенными жиденькими сосульками. Хотя на картинках в анфас зачесанные волосы совсем непропорционально обрамляли крупное квадратное лицо (уж лучше, наверное, сосульки) — лицо со следами юношеской угревой

сыпи и выражением вечной брезгливости к миру. Неужели так и правда выглядят современные поэты?

Элизабет пролистала фото с каких-то литературных собирушек, страниц самиздата, странных сайтов, где три четверти вкладки занимала сменяющаяся реклама в основном обезболивающих средств. Ей вообще постоянно вылезала такая реклама, как будто намекая на возраст, хотя сама Элизабет никакими болеутоляющими не интересовалась.

На большинстве страниц выплывали стихи Петричкина с горсткой анонимных комментариев. Как она отстала от современного русского языка: никак не удавалось прочитать его произведения так, чтобы уловить ритм, мелодику, да хотя бы смысл понять. Наверное, это можно сейчас — сочетать несочетаемое. «Глубины поверхностных вод», «расправив срезанные крылья»...

Ни премий, ни книг...

Йозеф вошел, на ходу все так же разминая плечо, и сразу направился к креслу. Ей показалось, что легкость его настроения слетела. Элизабет повернула к нему ноутбук.

— Тебя беспокоит плечо?

— О, так он же псих! — Йозеф как обычно отмахнулся от ее вопроса о здоровье.

— Кто?

— Ну кто это — писатель твой?

— Да. А почему псих?

Йозеф закатил глаза:

— Хорошо, человек с ментальными расстройствами. Посмотри на фото. Ты что, не общалась с психами?

— Знаешь, как-то не приходилось, кажется.

Элизабет развернула к себе ноутбук и еще раз взглянула на фото. Тип, конечно, неприятный, но чтобы так сразу псих?

— Лет двенадцать назад я работал над ребрендингом психофармакологической компании, специализирующейся на нейрореплетиках и седативных средствах. Как маркетолог я, конечно

же, решил проникнуть вглубь темы и посетил несколько реабилитационных центров и даже больницу, чтобы оценить, так сказать, потенциального потребителя. Вот там каждый второй с таким лицом.

— Йозеф, все люди разные. Мне он тоже неприятен, но кому какая внешность досталась.

— Да ладно! Почитай теорию антропологического подхода. Физиология предписывает определенный склад психики. Говорю тебе, псих. Выдавал себя за кого-то другого, придумал игру: целую жизнь, историю. А у него, может быть, как у Билли Миллигана⁶, в башке десяток таких писателей сидит.

— А почему же тогда он прекратил эту игру?

— Спугнула ты его, наверное. Зацепила что-то болезненное, ну или почти раскусила, например вопросов начала много задавать.

— Я вообще ему вопросов не задавала, он был мне абсолютно не интересен.

— Эх, люблю головоломки. — Йозеф снова поднялся и заглянул еще раз в ноутбук. Вот на чем он вдруг слетел с общения, помнишь?

— На твоём предложении рассмотреть запрос русского гея. Он написал, что мы заходим слишком далеко. Перечитывала сейчас его последнее письмо.

— О, значит сам такой!

Элизабет невольно дернулась. Ей нравилось, когда можно было говорить с Йозефом откровенно, но в последнее время он высказывался слишком жестко. Главное, что эта жесткость могла быть абсолютно непредсказуемой и быстро сменяться на толерантные мягкие речи без всяких внешних причин.

— Йозеф, ты меня удивляешь.

⁶ Первый пациент с множественным расстройством личности (24), избежавший уголовного наказания за преступления.

— Чем же?

— Суждениями. Слишком радикальными. Я вообще-то тоже тогда от твоего решения сильно напряглась.

Йозеф поморщился и небрежно махнул рукой.

— Элизабет, я достаточно пожил, чтобы говорить то, что думаю. Только псих или преступник может выдавать себя за другого человека. Иногда, кстати, такой преступник и есть псих. А твой писатель вообще немыслимость какая-то. История с тем геем должна была стать для него отличным поворотом, если он и правда хотел написать интересную книгу, а не вздохнуть и сопнуть про жизнь и смерть. Чем жестче берешь, тем выше продажи. Мы-то не смогли пока разработать юридически это направление, а уж он со своей фантазией должен был эту тему развить и пронести в общество.

Элизабет вспомнила того самого, изгнанного семьей Тимура. В прошлом месяце он прислал ей очередную открытку, кажется из Танзании. Таких открыток у нее собралось уже больше десятка — типичные туристические картинки, на обратной стороне несколько теплых слов отутюженным почерком с ровным мягким наклоном. И всегда приписка «с благодарностью от нас за новую жизнь». Она старалась отвечать сдержанно, но с теплотой. Его регулярные открытки с этой припиской отдавали театрализованностью, но ей все равно было приятно, что когда-то ее отказ вынудил Тимура развернуться в другую сторону. И пусть изначально он отправился в Бельгию лишь чтобы получить заветное разрешение на драматический уход в укор отрекшейся семье, но в итоге все-таки победил здравый смысл и обычное человеческое тепло. Когда находится тот, кому ты дорог, то можно и отложить планы на уход. Чем именно занимался Тимур кроме путешествий, что за человек с ним рядом, куда они движутся вместе — об этом открытки молчали, а Элизабет деликатно не спрашивала.

Йозефу об их переписке она не рассказывала. Потом, когда-нибудь, наверное. Быть может, когда он прочтет это в ее книге и вдруг удивится и захочет обсудить. Скажет, как блестяще вписалась эта история в общий сюжет.

ГЛАВА 9

— Ты знаешь, я не уверен насчет книги. Я просмотрел рукопись. Понимаешь, там слишком много всего документального.

Только что Элизабет (с надеждой на долгую хвалебную оду) спросила Йозефа о планах по спонсированию публикации ее книги. Ей казалось, это отличный момент для такого разговора. Утро после прекрасной ночи, разговор о чем-то духовном, о чем-то объединяющем. Она уже представляла себе не раз их вдвоем на презентации книги. Элизабет Шнайдер — автор, Йозеф Хернхоф — сразу в нескольких ролях: шеф, спонсор, наставник. Она бы еще его представила вдохновителем, «человеком, который верил в необходимость такого издания, напоминал ей в минуты истощения, какую важную миссию она на себя взяла». В общем, классическая сцена. В Цюрихе презентации книг нечастая роскошь, так что народу собралось бы много.

Она чуть подняла на него голову, не желая сдвигаться с теплого места у него под боком.

— Так в документальности и смысл, разве нет?

— Мы живем и работаем в Цюрихе, наши клиенты узнаваемы. — Йозеф потянулся к тумбочке за мобильником. — Ого, это мы так опоздаем.

Он начал выползать из-под одеяла, выпуская тепло.

— Если книга выйдет под твоей фамилией, а еще и спонсируемая нашей организацией — естественно, ее бросят читать все те, кто о нас знает. И проблема не только в том, что наши враги накопают там горы компромата. Они везде его накопают,

даже если бы нам дали Нобелевскую премию мира, которую, как я искренне считаю, мы заслуживаем и когда-нибудь получим. — Йозеф по очереди подбирал с пола и натягивал носки, поло, брюки.

— Так в чем же тогда проблема, если мы не боимся врагов? — Элизабет, приподнявшись на локте, смотрела, как стремительно ее Йозеф превращается в шефа.

— Мы боимся потерять «друзей», мыслящих с нами в одном направлении. Проблема в том, что нас наверняка прочтут родственники ушедших, и им могут не понравиться вот эти двойственные послы, твои размышления о том, надо ли, стоило ли. А будущие гипотетические пациенты? Понимаешь, в твоей книге нет мотивации обращаться к нам. Ты как будто смотришь на это все отстраненно, просто, как наблюдатель. Но, работая с нами, ты не можешь быть просто фотографом. Ты — часть команды, часть нашей идеологии.

— Мне просто хотелось поднять в книге важные вопросы. Читатель и сам сможет сделать вывод.

— Сам? — Йозеф повернулся от зеркала. — Элизабет, это же не дешевый любовный роман с низкосортными интрижками! Ты берешь тему, о которой будут спорить еще лет сто, а то и двести! Да-да, уверен, что века не хватит, чтобы перевелись глупцы в нашем мире. И что же ты делаешь: ведешь их в нужном направлении? Четко обозначаешь конкретный путь? Стимулируешь их на правильный выбор?

— Ты звучишь, как идеолог.

— А ты — нет! И в этом и проблема. — Йозеф, уже полностью одетый, искал, куда присесть. Он аккуратно переложил ее вещи и погрузился в кресло. Элизабет предпочла бы, чтобы он сел на край кровати, а еще лучше — поближе к ней, обнял и спокойно предложил варианты дальнейших действий. Но сейчас перед ней сидел ее шеф. Он чуть выдохнул и, кажется, теперь взвешивал каждое слово.

— Твоя книга заставляет читателя сомневаться, провоцирует споры.

— Разве это не то, что должна делать любая книга?

— Любая — может. Но не эта. Каждое судебное разбирательство по эвтаназии освещается по всей Европе, а то и по всему миру. Только ленивый не пишет об этом в своей газетенке или блоге. Споров и дебатов и так хватает! Ты должна была показать конкретную позицию — нашу. В этом твоя миссия как сотрудника, понимаешь?

Элизабет провела рукой по примятой Йозефом подушке и с усилием подавила в себе поднимающуюся волну возмущения на слово «должна». Слишком приятным было это утро до ее дурацкого вопроса. Хотя отчего же дурацкого. Кажется, именно эта рукопись расшевелила ее так, будто ей снова лет тридцать и все еще впереди. Как тогда, на корабле с Хавьером... Даже вспомнить сложно что-то из последних лет пяти более-менее значимого, кроме рукописи и романа с Йозефом.

— Я начала писать книгу, потому что отказался этот русский псевдописатель. Мне было жаль, что пропадет такой материал, действительно удивительный материал моих переписок, моего общения с клиентами. По факту, я продолжила его задумку — он закладывал миссию творческую, а не идеологическую.

— Во-первых, он не работает здесь, потому что несет никакой идеологической ответственности. А во-вторых, эту беседу мы начали с темы спонсирования. А его книгу, случись она такой же аморфной и невнятной, мы бы спонсировать не стали. Пусть сам бы искал, где ее пристроить. Уверен, что в Европе ему ничего с ней не светило бы.

— Аморфной и невнятной? — Элизабет резко села.

— Я имею ввиду в плане авторского голоса, не придирайся. — Йозеф взглянул на часы. — Давай мы договорим вечером. Ты собираешься вставать? Мы так опоздаем. Позавтракать

можем в Zum Guten Glück⁷. Твои любимые бейглы с лососем и яйцом пашот, я наконец запомнил, где их подают!

...

Через несколько недель страсти вокруг часов профессора Томпсона улеглись. Там, в Австралии, быть может, и продолжались поиски бедолаги моряка, а может, и дошло уже до допросов его на предмет причастности к убийству, и этот несчастный уже трижды пожалел, что решил нажиться на такой находке. В любом случае, акула, заглотившая сенсационную добычу, уже давно распотрошена и съедена в местных морских ресторанчиках. О профессоре и часах, наверное, будут говорить еще долго, но уже не так громко, так что даже Элизабет завершила ритуалы ежеутреннего просмотра австралийских новостей.

Элизабет с улыбкой прокручивала в голове длинные разговоры с Колином Томпсоном, его голос, фоном плывущий над умиротворяющими пейзажами океанического побережья. Эта история была для нее закрыта, завершена вполне удачно, однако в последнее время после новости о часах она чувствовала не то тревогу, не то напряжение. Порывшись в воспоминаниях обо всех событиях с момента публикации статьи в газете, она вдруг поняла, что источник раздражения — это история с псевдописателем Петричкиным. Даже смешно стало, почему вдруг этот немислимый чудак снова будто вторгся в ее жизнь. Виной был Йозеф, вскользь снова обесценивший идею ее книги, но придавший значимость призрачным писательским навыкам этого вруна.

Любопытства ради, она снова начала просматривать ссылки поисковика. Не обнаружив ничего нового, вспомнила про социальные сети — где же еще реализовываться таким вот

⁷ В пер. с нем. — «На удачу».

несчастливым. К ее удивлению, на запрос вышло так много Петричкиных, что пришлось фантазировать, сужая поиск, просматривать фотографии, но нигде нужного ей не было видно. Элизабет начала входить в азарт — в конце концов, этот писатель сумел как-то ее найти на просторах интернета, а чем она хуже. Ведь у него и данных ее никаких не было.

Элизабет впервые задумалась, как вообще Петричкин сумел ее отыскать. Из тех, кто о ней еще помнил в России, осталась лишь горстка дальних родственников, с которыми она оборвала связь после переезда в Швейцарию. Единственная в России, кто знал о ее нынешней работе, — Виолка, но ей и в голову не пришло бы никому рассказывать, не той породы она человек. Значит, Петричкин как-то выискал все сам: сначала предположил, а потом поверил и начал реализовывать? И это человек без знания языка, что же тогда она ковыряется!

Элизабет принялась снова выискивать информацию на сайтах, где могли быть ссылки на сайт Петричкина или его контакты. Наверняка такой, как он, всегда рассчитывал, что кто-нибудь начнет искать его — автора «гениальных» стихов, чтобы предложить опубликовать, а значит, точно совал всем визитки и оставлял контакты в сети.

Спустя минут десять ее усилия были вознаграждены: конечно же, контакты во всех известных и не известных Элизабет социальных сетях. Она выбрала добрый старый «Фейсбук» и приготовилась увидеть какой-нибудь хорошо отфотошопленный портрет.

Маленькая круглая фотография представляла собой снимок звездного неба, кажется даже не снимок, а рисунок. А на длинной заставке аватарки крупным планом белел лист бумаги, над которым зависла рука с пером. Справа стояла чернильница, стилизованная под старину. На листе расплзлись неровные строчки, типично корявым поэтическим почерком.

Элизабет увеличила изображение, чтобы разобрать написанное, и тут же недовольно фыркнула: рука крупным планом — противно белая, пухловатая с несколькими мелкими болячками. Ее бы можно было спутать с женской, если бы не под корень срезанный ноготь большого пальца, с торчащими мохнатыми заусенцами и красными следами от обкусывания или обдирания кожи. Она по слогам с трудом разобрала написанное:

*Мне ведунья нынче нагадала
Уходить в дальний край наказала
От мирской бежать суеты:
«А то смерть обретешь скоро ты».*

Элизабет разочарованно вздохнула, но что-то в этой картинке все же цепляло. Ах да: чернильница! Она уменьшила изображение и, прищурившись, пыталась представить свою руку на фотографии. Да, чернильница и перо. Банально, но все же наверняка создает нужную атмосферу. Писать пером ей, конечно, не улыбалось, а вот просто оформить свой уголок лишним атрибутом творчества — приятная шалость.

Настроение стало легким и игривым. А почему бы и не написать, хоть это он ее бросил со всей идеей рукописи. Ее вообще всегда бросали мужчины, но те мужчины были ее любимыми, а этот — немыслимо, что о себе возомнил.

Элизабет потянулась курсором, кликнула и с неожиданной для себя легкостью отправила «День добрый! Как дела?»

Ее игривое настроение прервал знакомый легкий стук в дверь (стук-оповещение: я уже тут). Йозеф сел не в кресло напротив, а на маленький кожаный диванчик. Затем попробовал развалиться в нем поудобнее, побряхтел пару раз, недовольно поморщился и снова сел.

— Йозеф, ты не хочешь обратиться к врачу?

В последние дни он постоянно массировал себе то руку, то ногу. Не жаловался, но Элизабет, да и любой другой заметил бы, что боль действительно сильная. Порой это даже раздражало, когда он обнимал ее слишком быстро, как будто наспех, отказывал в лишней прогулке или до полуночи отмокал в горячей ванной, и она, не дождавись его, засыпала одна.

— Думаю, пока это лишнее. Просто я закрутился и не получил рецепт на следующую пачку обезболивающего. — Йозеф, кряхтя, встал и как-то осторожно двинулся к окну. Он оперся одной рукой о раму, а другой поскреб стекло — щебет птиц снаружи умолк.

— Но это не выход — просто пить таблетки!

— Да? Кажется, в моем случае только такой.

— Йозеф, я серьезно. Ты же не хочешь в старости быть прикованным к постели?

Йозеф обернулся, невольно опять поморщившись.

— Очень смешно про старость. Хотя в принципе, если считать шестьдесят старостью, то пару месяцев в постели я еще застану.

ГЛАВА 10

— Зато теперь я могу быть уверен, что ты спала со мной точно не из жалости, раз ничего не знала! — Йозеф потянулся поцеловать ее. — Для тебя тоже плюсики: ты можешь быть уверенной, что ты — моя последняя женщина.

— Йозеф, это... Это не смешно... — Элизабет была в замешательстве. В голове крутились одни и те же вопросы: «А как же я? Почему ты не сказал раньше? Зачем ты завел со мной роман?» Она злилась на себя за эгоистичные мысли, пыталась настроиться на то, что сейчас чувствует он, как он вообще с этим справляется, какие слова хочет услышать. Но Йозеф поцеловал ее привычно сдержанно.

— Я не понимаю, как я могла не запомнить такое!

— Да ладно, я тогда был для тебя обычным занудой из другого отдела. В конце концов, ты каждый день работаешь с похожими историями. Чем моя была значимей? Да и ты, наверное, тогда была так поглощена своей писаниной, что вообще ничего не замечала.

Элизабет пропустила мимо ушей его иронию насчет ее романа:

— Нет, книга была позже, когда ты уже стал шефом.

Она силилась вспомнить хотя бы какие-то отголоски ситуации, которую описал Йозеф: общее ежемесячное расширенное собрание-бранч, за длинным столом их человек пятнадцать. Он говорит о своем диагнозе где-то между горячим и десертом. В своем духе — с иронией, которая в принципе присуща большинству работников их центра. Просит не мусолить эту тему слишком долго и отнестись с уважением к его желанию больше не задавать ему вопросов о здоровье... Нет же — нет. Ее память не выдавала ровным счетом ничего. Пустота, никаких откликов. Как будто дэлитом стерли. Даже если учитывать, что они редко пересекались, работая в разных частях здания, и он был ей не очень приятен — она бы все равно запомнила! Или нет? Может, только сейчас, когда он стал ее мужчиной, ей вдруг кажется, что он всегда был значимым?

— Февраль.

— Что, прости?

— Я объявил это в конце февраля. Узнал одиннадцатого февраля, когда катался в Гштааде. А как вернулся — так и общил.

— Я, наверное, тоже была в отпуске. Обычно это мой месяц.

Не только ее, но и типичный месяц для отпусков почти половины служащих: февраль и декабрь — наименее загруженные на работе. Пациенты стараются не омрачать близким Рождество и День святого Валентина. Если и получают одобрение

от клиники в конце осени, то выбирают либо ноябрь, либо уже март. Реже, в совсем тяжелых случаях, — январь. Элизабет мельком подумала, что, если бы в России люди могли выбирать время ухода, наверное, это был бы сезон с мая по сентябрь. Земля мягче, провожающим спокойнее.

Февраль... Конечно же, февраль. И, конечно же, она не могла слышать сообщение Йозефа. Это был тот самый февраль, когда она, после тридцати четырех писем Колина Томпсона и еще двух месяцев звонков по видеосвязи, чтобы никто не мог узнать о содержании их бесед, отправилась в свое самое странное путешествие, так ловко придуманное и так тщательно продуманное самым интересным собеседником в ее жизни. Последняя неделя февраля и еще две в марте. Наверное, когда она вернулась, сплетни уже утихли. Да и какие сплетни: тема болезней сотрудников никогда не была спекулятивной в их компании.

Когда она прощалась с одним удивительным мужчиной, время начало отсчет для другого, ставшего ее любимым человеком год спустя...

— Сколько тебе... Сколько они предполагают?

— Времени? Это непредсказуемо. Года два, наверное, есть. Если ты не возражаешь, я бы предпочел об этом не говорить.

Не возражает? В смысле?! Конечно, она возражает! А с кем ей об этом говорить? Ей что, оставить все как есть?! У нее в закладках несколько облегченных туров в Тибет — недели две отбирала наиболее подходящие для них двоих предложения. Ретриты, посещения монастырей, духовные практики. Она представляла себе, как сблизит их такой опыт, как удивительно будет после стольких лет одиноких путешествий иметь рядом человека, к которому можно повернуться и воскликнуть: «Смотри, какая красота!» или «Ты видел, вон там проплыла — кто это?»

А теперь... Да куда там горы, хотя бы лежать тюленями на Тенерифе — и то, неизвестно, стоит ли даже помышлять.

Амиотрофический склероз — ей даже выговорить это сложно, не то что принять!

— Не говорить? Ты в стадии отрицания?

Йозеф улыбнулся:

— Нет, не переживай. Думаю, сейчас что-то среднее между депрессией и принятием. Остальное я уже прожил за год. Отрицание, насмешки, пересдача анализов и смена четырех врачей, попытки договориться не то с ними, не то с собой, вспышки агрессии и подавленность. Все, как в твоей прекрасной методичке для наших клиентов, представляешь?

— Это не моя придумка, Йозеф. Это давно известная модель. Какими бы разными ни были люди, их мозг проживает новости о скорой смерти одинаково.

— Да-да, теперь я на себе проверил. А до этого, честно говоря, относился так же скептически, как к твоей псевдокниге. Думал, что ты вообще любишь всю эту болтовню и бессмысленные рассуждения.

...

Элизабет сидела в кафе *La petite histoire*⁸ одна. Воскресенье, в маленьком зале всего три столика, остальные шумят на улице. Ей принесли ароматный бранч: хрустящая брускетта с лососем и авокадо, кокетливо украшенная руколой, чай с бергамотом в расписном чайнике. В планах маячил фисташковый эклер на десерт. Ее мама часто вздыхала о пирожных своего детства, настоящих шедеврах советской кулинарии. Элизабет же не могла похвастаться такой же любовью к перестроечным пересушенным безе и помятым булочкам с жирным кремом внутри, выдаваемым за пирожные в ее детстве. Она вообще полагала, что десерты — слабая сторона русской кухни.

⁸ В переводе с фр. — «Анекдот».

В зале было камерно тихо. Она всегда любила это место за интерьер, домашнюю атмосферу, незаметность официантов. Белые с деревянными панелями стены, зеленые состаренные столики с ротанговыми стульями, свежие цветы, скатерти с вышивками и посуда — не эти общепитовские белые тарелки, нагоняющие тоску от заштампованности, а увесистые узорчатые блюда, тяжелые в руке, как будто каждую такую вещь отдельно лепили в гончарной мастерской. Каждая тарелка на столе была со своим рисунком. Как в детском саду, разглядывая в тихий час узоры на потертом псевдовосточном ковре через дырки раскладушки, Элизабет любила рассматривать эти блюда, фантазируя, куда двигалась рука мастера, выписывая очередной вензель. С такой посуды обычно и елось со всем по-другому.

Однако сегодня аппетит не приходил, а тишина зала давила. Да и вообще последние дни постепенно нарастала раздражительность на какую-то бесконечную медлительность людей вокруг. На улицах она начала замечать за собой желание обогнать впереди идущих, в ресторане просила счет, как только приносили десерт (все равно нести будут еще минут пятнадцать).

С момента их разговора про диагноз Йозефа она вот уже несколько дней удерживалась от того, чтобы начать собирать информацию про его болезнь, откладывая это на выходные, чтобы не выпасть окончательно из рабочего процесса. В принципе, она примерно представляла, что найдет на просторах сети, оттого, наверное, и медлила.

Элизабет открыла ноутбук, рассчитывая набросать хотя бы пару страниц, раз уж еда не идет. Хотя с книгой тоже шло плохо. Некоторое время назад она решила придумать главной героине романтические отношения. Причем не такие, как случались в жизни самой Элизабет (ведь напишешь как было — про шестерых мужчин, которые ее бросили, — не поверят

же! Скажут, преувеличение. И это не считая Маркуса или Колина, которые и ее мужчинами-то не были в полной мере, а умудрились бросить, сбежать из ее жизни). Ей хотелось создать хоть одного полностью вымышленного героя, слепить с нуля, но это оказалось невероятно сложным! Герой получался пластмассовый, совсем не живой, да и героиня рядом с ним вела себя, как кукла: бестолковые реплики, клишированные мысли, хотелось просто выйти из этого театра — настолько плохо разыгрывались диалоги. Повествование от первого лица только усугубляло ситуацию: Элизабет казалось, что она с манекеном стоит посреди комнаты и разговаривает, глядя в его небрежно отштампованные глаза.

Впервые с того вечера, когда Элизабет после приступа гнева засела за ноутбук, опустошив за вечер в одиночку бутылку полусухого (после двухлетнего-то воздержания), впервые она почувствовала такой силы злость ко всей этой затее, что чуть было не бросила писать. Она несколько вечеров подряд печатала и стирала, снова перепечатывала, потом бросалась вспоминать все то, что стерла (там же точно было что-то хорошее), и снова разочаровывалась. Она уже подумала убить к черту эту несчастную бестолковую парочку, настолько надоело с ними возиться, но тогда она не смогла бы потом написать продолжение... А продолжения хотелось. Более того, Элизабет, хоть и старалась себе в этом не признаваться, где-то в душе верила, что книга и правда подарит ей самой новую жизнь, такую, которая будет настолько мощнее всего предыдущего опыта, что можно будет вспоминать былое, деля его на до и после.

Едкие комментарии Йозефа про бессмысленность затеи распалили ее азарт месяца два назад, а сейчас все как будто затухло. Элизабет послушала несколько подкастов от современных известных кому-то писателей, почитала лекции литературных школ и с облегчением вынесла себе диагноз: творческий кризис. Что ж, когда у явления есть название, оно сразу

становится чуть понятнее. Когда она лет в двенадцать случайно вставила в видеомагнитофон какую-то кассету без подписи (у них было два магнитофона, и папа часто переписывал для домашнего хранения самые душевные фильмы, которые они брали в прокате, подписывая карандашом белую наклеенную полоску), она тоже первый час пребывала в панике, а потом еще два дня в полном ужасе. Но когда, поделившись с Виолкой, услышала в ответ такое снисходительно-пренебрежительное «Порнуха, что ль?», ее вдруг разом отпустило, будто само звукосочетание, складывающееся в некое существующее слово, уже снимало и страх, и неловкость. Раз слово есть — значит, все понятно, значит, все не случайно, а кем-то придумано, придумано и вообще вполне нормально. Хотя значение слова она выпытала у Виолки только спустя неделю (под гигиканье подруги об отсталости интеллигентных масс), мучаясь несколько дней сомнениями, стоило ли погружаться в тему.

По выходе из творческого кризиса было немало информации. Кучка статей, разминочные упражнения, множество предложений наставничества... Элизабет все еще не знала, как завершит книгу. Ей хотелось не банальной истории любви, а драматизировать двойным убийством или автокатастрофой было бы неестественно. Несколько раз она делала перерывы на неделю, как будто ожидая от жизни сигнала, подсказки, интересного поворота.

И вот «сигнал», кажется, пришел, только помещать его в книгу в таком реалистичном виде совсем не хотелось.

Она кое-как безучастно пожевала брускетту, выпила полчашки чая, затем пододвинула ноутбук, отмотала в файле книги в самый конец и начала писать:

Как-то в Сомали мы сошли с корабля сразу после прибытия. Нам предоставили машину, чтобы довезти в местную школу благотворительные посылки. Типичный военный внедорожник

без верха со следами от пуль по бортам и запахом некачественного бензина. На берегу уже было раскинуто что-то вроде стихийного полевого лагеря. Так бывало почти на каждой стоянке. Люди ждали нас порой несколько лет, поэтому за пару недель до прибытия корабля уже собирались караваны жителей, змеящиеся со всех окрестных деревень. Из-за очередных военных восстаний в предыдущем году мы не смогли выполнить свою миссию, а еще годом ранее не получили вовремя одобрение на заход в гавань.

На берегу стояла и охрана из европейских миротворцев. Скорее больше для проформы. Местные люди не кричали, не лезли вперед. Они улыбались и тихо пели песни, лежа у костров или просто так. Они были рады, что скоро взойдут на борт корабля и получат избавление от боли или уродства. Своей амбулатории на ближайšie пятьсот километров не было. Мы планировали ее построить вместе с военными в течение месяца. Местные больные знали о сроках стоянки и рассчитывали попасть на прием к белым врачам. Нет, они не рвались уже завтра пробиться. Они готовы были смиренно ждать.

Когда машина была загружена и тронулась в путь, мы заметили, что к берегу все еще идут люди. Медленно, как будто покачиваясь. Машина ехала неспешно, и эти люди продолжали идти. Минуту, две, десять. Мы ползли по бездорожью уже полчаса, а навстречу нам в сгущавшихся сумерках все продолжали плыть лица. Кто-то из них просто смотрел, кто-то приветливо улыбался. Они все шли туда, к нашему кораблю.

К моменту этой остановки я уже давно поняла, что в большинстве своем люди ищут у нас просто облегчения. Но мы примем лишь процентов 20–30. Остальных развернут врачи, которых выставят в дежурство на сортировочный пункт на берегу. Там дежурят самые опытные, способные почти в потоковом режиме за десять минут определить, наш ли пациент. Непрошедшим дадут какие-нибудь витамины или таблетки

кальция для профилактики и попросят уходить домой, даже не впустив на борт. Не потому, что нам жалко или мало времени. Просто даже волшебные белые врачи помочь могут не всегда.

«Фейсбук» выдал ей очередное сообщение от Петричкина. С того раза, как она, шутки ради, написала ему «День добрый» он так распалился от их диалога, что теперь через день поставлял ей то цитаты великих, то собственные строчки, несмотря на то, что она ему больше не отвечала. Сначала хотела рассказать ему о том, что знает теперь правду про «Помпей» и прочие сказки, а потом рассмеялась — зачем это? Гораздо забавнее наблюдать за кем-то, когда знаешь о нем больше, чем он может предположить.

Она начала прокручивать вверх его сообщения, постепенно подбираясь к их первому диалогу в мессенджере.

— Постепенно я поверил, что стал настоящим художником!

— Но только.

— Хотя я и стал рисовать.

— Но... сомнения все равно не оставляли меня.

— Возможно, мне просто нужно продолжать творить в каком-то другом направлении.

— «Все не так, как кажется».

— Я колебался и все же рискнул попробовать последний, самый надежный вариант: обратился снова к своему астрологу, и она озвучила свой финальный вердикт:

— Я полный бездарь!

— Это был момент полного провала, я подумал, что...

— Надо уходить, все бросать.

— Хватит мучений, довольно с меня!

— Я решил прекратить это все.

Элизабет с улыбкой заметила, что такой обратный хронологическому порядок сообщений был бы более интересен, и она

даже может зауважала бы Петричкина, если бы он честно признал себя бездарностью и завязал с любым творчеством. Однако он в бесконечной переписке (преимущественно односторонней) все больше складывался у нее в целостный, хоть и абсурдный образ: был поэт, стал художник, все просто. Она пролистала еще выше, пробежав глазами все его перипетии с переживаниями про тупик с книгой, с мрачным предчувствием проклятия после письма про Тимура. Потом вернулась к более свежим сообщениям с бесконечными вставками из писем астролога о периоде Юпитера в Стрельце и соединении Сатурна с Плутоном, бывающем раз в 33 года...

Что ж, Петричкин почувствовал творческий провал и слился. Скорее всего, там и не могло быть провала, так как не было почвы, с которой он мог бы туда упасть. Вряд ли бы он бросил хоть наполовину написанную книгу — теперь Элизабет понимала, какой это труд. Скорее всего, Петричкин сдался на уровне идей. Или действительно он такой ненормальный, что его запугала какая-то дурная звездочетка.

Поразмыслив над меню, она подозвала официанта и заказала на десерт «Павлову».

ГЛАВА 11

Перед ней в очереди молодая пара, видимо, в процессе ссоры. Девушка выдает редкие сердитые реплики, у нее на плече джутовая сумка, мужчина нарочито безразлично уткнулся в телефон, к рюкзаку привязана расслаивающаяся соломенная шляпа с затертым шнурком. Молодожены, отправляющиеся в свадебное путешествие на Мальдивы? Друзья с бенефитами, выбравшие недорогой тур куда-нибудь на Сицилию? Уставшие супруги в кризисе семи лет в поиске новых ощущений летят в Азию? Солнце не сможет отогреть, если отношения заморожены. Сплотить тем более.

Элизабет вспомнила бесконечное палящее солнце во время плавания на корабле-госпитале: под ним и говорилось медленнее, и думалось хуже, и работалось тяжелее. Мысли о каких-то отношениях, хотя бы и дружеских, даже не проникали в сознание. Люди вокруг воспринимались просто механическими фигурками. Их работа — рутинной. И только внутри корабля, под искусственным холодным светом напряжение спадало и удавалось замечать то, что снаружи как будто не видно из-за слепящего солнца: масштаб их работы, прекрасные лица коллег, интересные беседы, мозаику всех тех, кого миссия собрала из разных уголков планеты.

Именно внутри корабельной прохлады, в свободные часы наблюдая за работой хирургов через стеклянные стены или в общих смотровых, Элизабет начала ощущать всю притягательность жестов Хавьера, его мимики, когда он общался с пациентами, его взгляда, когда он во время осмотров переглядывался с ассистентами. При редких совместных вылазках на берег Хавьер казался отталкивающим: как будто все время раздраженный, голос грубее, движения резче.

А лучше всего им было в холодные ночи на палубе... Холод — вот что сближает...

Очередь на паспортный контроль не по-европейски бесконечная. Или так только кажется. Достаточно короткая, чтобы испортить отношения. Достаточно долгая, чтобы все взвесить и убежать? Два чемодана уже плывут где-то в недрах грузовых секций аэропорта по транспортной ленте. Пока их хозяйка еще перебирает в голове варианты, для них уже все решено.

Варианты... Есть ли они? Это было самое спонтанное в ее жизни заявление об отпуске, который, скорее всего, превратится в самое трусливое увольнение. Какая разница, пусть судят, как хотят.

В прошлый понедельник в кабинете шефа смонтировали футуристические часы. Огромный открытый механизм метр

на два, в котором непрерывно что-то вращалось и двигалось, приводя в действие авангардные стрелки, кружащиеся по несуществующему циферблату. Все шестеренки и колесики были окрашены в различные оттенки черно-белой гаммы, ни одна деталь не сливалась с фоном, не ускользала от взгляда.

Элизабет и без объяснений стало ясно, почему Йозеф выбрал такие часы. Ее завораживало это безостановочное движение одновременно полусотни различных шестеренок настолько, что она почти не слушала банальные философствования шефа о метафоре наполненности каждой минуты.

Потом на десятичасовом собрании Йозеф, как обычно, обсуждал планы на неделю, руководители отделов что-то спрашивали, отвечали, записывали. А в голове Элизабет шестеренки и колесики запустили свой механизм, как будто собирая воедино пазл событий жизни за последние пару лет: предложение писателя, странная просьба согласиться на книгу от Маркуса, смена шефа, резкий отказ писателя, затем и отказ Йозефа... Вселенная явно шлет ей сигналы. Все это словно промежуточные звенья, которые появились и исчезли, чтобы просто создать цепочку: расшевелить ее на то, чтобы сделать что-то свое, что-то большое и значимое. Несколько случайных встреч, событий, несколько случайных людей, которые были посланы на какое-то время, чтобы потом сойти со сцены и оставить ее одну с идеей книги.

И этот гипертрофированный часовой механизм... Нет уж, она не может себе позволить просто ждать, когда и этот мужчина исчезнет из ее жизни. Ей слишком много еще нужно успеть, ведь вряд ли «статистическое бюро небесной канцелярии» ошибется или забудет о ней так же, как о Колине. Йозефа они решили прибрать за два года, а то и быстрее. Так что гарантий насчет того, что она попадет в цифру средней продолжительности жизни швейцарки, никаких нет. Ей нужно туда, где ее книга будет востребована, а сама она успеет использовать отведенное ей время.

Всю оставшуюся встречу она в нетерпении смотрела на часы, раздражаясь все больше на такую пустую трату времени. В конце совещания дошли до обсуждения музея «последних» вещей пациентов клиники. Уже были подготовлены два десятка экспонатов, юристы проработали все возможные и невозможные нюансы. Пока речь шла только о выставке: вопрос с площадью под музей оставался нерешенным, много было споров, открывать ли в клинике или где-то снимать помещение в городе. С одной стороны, потенциальным клиентам было бы удобнее посмотреть на музей прямо в день оформления договоров. С другой — Йозеф преследовал цель просвещения населения об их деятельности, а местные, да и туристы с недоверием отнеслись бы к предложению приехать в их клинику — у большинства она ассоциировалась лишь с местом, откуда не возвращаются. Городской музей современных искусств согласился выделить им целую комнату для временной экспозиции, а дальше было решено посмотреть на результаты. Йозеф, как истинный маркетолог, уже разработал целую стратегию продвижения их выставки: ненавязчивая реклама, мудрые слоганы, прекрасно описанные истории владельцев, не менее интересные истории о самих экспонатах (в нескольких случаях изящно дофантазированные профессиональными пиарщиками), световое и музыкальное оформление зала. Все это он вместе с Элизабет прорабатывал и организовывал последние полгода. В тот момент она была так окрылена этой идеей: они не просто помогают людям уйти, они помогают им остаться в памяти потомков... Но сегодня все эти обсуждения вызывали у Элизабет напряжение и тревогу. Ей самой надо было успеть остаться в памяти, и надо торопиться! Остаться не просто тенью, сопровождающей в мир иной, а чем-то ярким.

Йозеф мельком бросил, что он был бы счастлив, чтобы его камни попали в их музей, а не были бы просто утилизированы. На его комментарий тактично промолчали, но точно приняли к сведению и, конечно же, выполнят в лучшем виде, придумав

под каждый камень свою легенду. Да, камни займут, наверное, отдельный зал будущего музея, а про их ушедшего хозяина напишут много теплых слов. А она? Что она принесла бы в свой последний день? Гребень, подаренный Хавьером? Или осколок метеорита от Йозефа? Авторскую уникальную куклу с лицом Элизабет, одетую в ее любимое платье, трусливо присланную Маркусом по почте на это Рождество, хотя живет он всего в нескольких минутах езды. Что эти вещи говорили бы о ней самой? Когда-то любимая женщина... любимая мужчинами-романтиками... хранящая дары. Увы, они лишь говорили бы о них, о ее мужчинах. И эта книга, если бы написал ее Петричкин, она тоже говорила бы о нем: его слог, его язык, его мышление, его оригинальный сюжет. Элизабет — лишь героиня. Пусть и главная, но всего лишь героиня чужой книги. Какая наполненная прошла жизнь, но как мало она рассказала о ней! Как мало людей знают об этом!

Йозеф был прекрасным любовником. Вообще-то, своеобразным, если не лукавить, хотя в его возрастной категории уже не так много вариантов для выбора. Быть может, она еще вернется. Вернется с книгой или готовым контрактом, вернется, чтобы просто жить или чтобы попрощаться с ним. Но на первом месте теперь все-таки она сама, а не очередной мужчина.

Элизабет никогда не видела, как прощаются их пациенты со своими родственниками. Она много общалась с самими уходящими и давно уже определила для себя миссию клиники глазами клиентов — спасение от боли, от унижения, от бессмысленности. Спасение. И эта миссия была благородна и прекрасна. Порою более благородна, нежели миссия ее корабля в Африке: давать здоровье людям, у которых жестокость соседних народов, эпидемии и нищета отнимут жизнь через несколько лет, как будто даешь надежду тем, кто обречен. Здесь же они давали надежду на стопроцентное окончательное облегчение.

Когда пришел Йозеф, она постепенно начала принимать и его постулаты, касательно необходимости расширяться,

давать шансы большему количеству страдающих. Их цели показались ей еще более значимыми, честными, смелыми. Но с того дня, когда Йозеф так небрежно мимоходом рассказал ей о своем диагнозе, невольно втянув в историю своего ухода, она начала задумываться о том, каким выглядит их место для тех, кто приходит в их клинику, чтобы с кем-то проститься. Мысли о том, в какой комнате захочет уйти Йозеф, стали навязчивыми. Ей было очевидно, что уйти он захочет именно у них. Как выяснилось, он даже место Маркуса получил именно потому, что сообщил акционерам о своем диагнозе. Йозеф рассказывал ей об этом, абсолютно не стесняясь, подчеркивая, что искренне был уверен и сумел убедить владельцев в своей идее: кто лучше сможет понять, чего не хватает их организации, кроме того, кто скоро должен стать ее клиентом? Никто раньше не мог посмотреть на них именно глазами пациента, все лишь предполагали, что может быть лучше для уходящих, в то время как Йозеф мог дать именно этот уникальный взгляд. А кроме того: «Что является лучшей рекламой ресторану? Если его владельцы сами в нем обедают».

Она никогда не провожала на саму процедуру ухода. Только Колина, но это был исключительный случай, да и за пределами ее работы. Каким будет прощание с Йозефом? Думал ли он сам об этом, держал ли в голове сценарий? Он носился целыми днями со своими бизнес-идеями, никогда даже не осекаясь в упоминаниях будущих перспектив — на пять, десять лет вперед, хоть и знал, что его к тому моменту уже не будет. По сравнению с Маркусом, всегда очень мягко и сдержанно рассуждавшем о будущем времени, Йозеф казался ей слишком самоуверенным, а в рамках планов Вселенной на него так и вовсе легкомысленным.

Зачем он закрутил с ней роман, о чем думал, если все уже знал? Случайность или эгоистическое желание насладиться перед неизбежным концом? Увы, оба варианта были неутешительными для Элизабет: кажется, в жизни Йозефа не было

даже попытки осмыслить чувства женщины, которую он вовлек в свой траурный роман.

После того утра, когда он рассказал о диагнозе, она с каждым днем злилась на Йозефа все больше и вместе с тем винила себя за это, заставляя думать о том, каково сейчас ему. Пока наконец не переполнилась этим напряжением так, что хотелось бить все вокруг. Хватит! Слишком много драм в ее жизни! У нее осталась она сама — только теперь это звучало в голове не с той грустной улыбкой принятия, как последние лет десять, а скорее с вызовом, с тревогой, с острой потребностью срочно что-то сделать. Сделать только для себя. И вот она здесь, стоит в очереди. А где-то позади, кажется, слышна знакомая напевная речь.

Элизабет обернулась: так и есть, темнокожий толстяк в полунациональном костюме пытается увещевать двух своих носящихся вокруг очереди детей: девочку лет пяти и мальчика чуть постарше. Еще двое мальчиков постарше и две женщины стоят рядом с ним, уткнувшись в телефоны. Куда летят, откуда... Вряд ли стыковочный рейс, Цюрих — не самый популярный транспортный узел. Может, эмигранты, летят домой. Может, куда-то, где попроще жить. В первые месяцы работы на корабле Элизабет казалось, что каждый из их пациентов в своих фантазиях хотел бы остаться на корабле навсегда: уплыть подальше от этих мест, пропахших беднотой, безысходностью, страхом. Поднимаясь на борт, они осматривали их дряхлеющую по европейским меркам посудину так, как белый католик входил бы в ворота рая: благоговейно, восторженно, восхищенно. Однако, проплавав год, Элизабет начала понимать, что большинство местных, даже получи они шанс уехать с ними в волшебную Европу, остались бы навсегда там, в Африке, каким бы беспросветным ни казалось их будущее среди болезней, нищеты, голода. Там был их дом. Они провожали улыбками и благодарностями огромный белый корабль,

уходящий в чью-то чужую сказку. И возвращались к своей жизни, как возвращаемся мы в привычный мир из прекрасного, закрывая хорошую книгу.

— Куда вы летите, мадам? — молодой таможенник улыбается ровно настолько, чтобы это можно было засчитать за профессиональную вежливость.

— В Москву.

— Цель визита? — несколько раз смотрит на фото в паспорте и на саму пассажирку.

— Встреча с издателем. Я везу рукопись для обсуждения.

В сумке кипа бумаг: ее рукопись, список московских издательств с адресами и условиями приема текстов, страховка для иностранцев, брони отелей.

Элизабет повернула голову в сторону выхода из секции таможенного контроля. На стене прямо за кабинками огромный рекламный плакат американской авиакомпания. Неестественно ярко-синее небо с крохотным самолетом и слоганом *We know why you fly*⁹. Где их дизайнеры видели такое фальшивое небо?

Глухие звуки контрольных штампов, отрывистые, как и вопросы таможенника, будто на военном марше отчеканивающие единственный для нее путь.

— Проходите, хорошего полета.

⁹ Мы знаем, почему вы летаете (англ.).

СОДЕРЖАНИЕ

От издателя. Человек эпохи возражения	3
Никогда не ходите на встречу выпускников (рассказ)	5
Небо, любовь моя (рассказ)	18
Посмотри на меня (рассказ)	28
Козы — провокаторы (рассказ)	51
Уходи под раскрашенным небом (повесть)	66
Глава 1	66
Глава 2	86
Глава 3	109
Глава 4	123
Глава 5	135
Глава 6	152
Глава 7	167
Глава 8	179
Глава 9	192
Глава 10	198
Глава 11	207

Литературно-художественное произведение

Елена **Тулушева**

Небо, любовь моя

Четыре рассказа и одна повесть

Руководитель издательского проекта *Роман Косыгин*

Литературный редактор *Евгения Долгинова*

Дизайн обложки *Александр Петриков*

Верстка *Елена Потапова*

Корректор *Римма Болдинова*

Подписано в печать 10.11.2022.

Формат 64 x 90¹/₁₆. Гарнитура Charter.

Тираж 500 экз.

Заказ №

АСПИ

121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1

Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»

109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5

t8print.ru

16+